

## Часть II

# СЛУЖБА МИРНОГО ВРЕМЕНИ

## Глава 3

### Земский отдел Министерства внутренних дел (1898–1901)

Л.105. Прежде чем перейти к описанию моих первых шагов на государственной службе, надо дать себе отчет с каким умственным и нравственным багажом вступал я на новую дорогу моей жизни. Юридический факультет дал мне удовлетворительное специальное образование, но без всяких национальных основ; о том деле, которому я намеревался посвятить себя — о правовом и бытовом положении сельского населения России я имел самое смутное представление; Россию, русскую деревню, если не считать моих детских впечатлений, я знал очень мало; я страстно любил все русское, благодаря незаурядному знанию русской литературы, музыки и отчасти живописи. В политическом отношении, раздраженный нерациональностью передового студенчества и его шорной партийностью, я исповедовал консервативные взгляды, но как-то невыдержанно, без партийной односторонности, а потому, уклонялся по отдельным вопросам влево. За идеал бюрократа, за свой идеал, я взял себе толстовского Каренина и старался выработать в себе, хотя бы внешне, хотя бы на словах, корректную благородную сухость, что приходило в постоянное столкновение с наклоном моей к живым приключениям и своеволию, находившемуся в полном противоречии в то время с требованиями служебной дисциплины. На службу, ее цели я смотрел весьма просто: надо добиться известного положения, что называется, сделать карьеру, заручившись какой-либо протекцией, чтобы можно было хорошо жить и приносить пользу. В то, что истинная польза государству и обществу может быть приносима на любом месте, как бы оно ни было скромно, лишь бы принятые на себя обязанности самым совестным образом, что высшей наградой за труд является личное удовлетворение собой, что служебная карьера в массе случаев делается на русской государственной службе личным трудом, способностями и усилиями с гораздо большим успехом, чем протекционным способом — обо всем этом перед Л. 106. поступлением на службу как то не думалось. Легенда о значении протекции так сильно, впрочем, вкоренилась в русское общественное мнение, что ее до сих пор очень часто многие, не близкие к бюрократическому миру, круги, а в особенности неудачники по собственной ограниченности или настроенные оппозиционно к прави-

тельству, считают за непреложную истину; отчасти распространению этой легенды способствовал действительно протекционный, но далеко не во всех случаях, способ замещения некоторых специальных должностей, например, губернаторов, при Дворе и т. п. Часто под протекцией ошибочно понимаются те деловые связи, которые завязываются уже на самой службе, благодаря личным способностям, работе и вообще качествам ума и сердца. Все мои служебные наблюдения, с первого до последнего года службы, как будет видно из моих воспоминаний, самым решительным образом опровергают рассказы о значении, так называемой, протекции, если говорить о правилах, а не об исключениях.

И так, веруя, как все, в силу рекомендательных писем, я, через бабушку, получил приглашение явиться к товарищу министра внутренних дел А.Д. Оболенскому, которому говорил обо мне И.Н. Дурново. Не без волнения переступил я, впервые в жизни, порог приемной комнаты высокого бюрократа, сначала в собственном доме его на Морской улице, а затем уже в здании министерства внутренних дел, близ Александринского театра. Принят я был князем Оболенским очень просто и любезно, а не величественно, как это должно было бы быть, по моим студенческим и литературным представлениям о бюрократах. Осведомившись, что я хотел бы работать по крестьянскому делу, но не желал бы попасть в новое Переселенческое Управление, т. к. не могу расстаться с родными и друзьями, он заявил, что, в таком случае, надо причисляться к Земскому Отделу. Меня изумило несколько, что Земский Отдел ведает не делами земств, судя по его названию, а крестьянскими, но впоследствии я сам сильно раздражился, когда мои либеральные товарищи, избравшие свободные профессии, распускали обо мне слухи, что я добровольно посвятил себя делу удушения земств; я считал это, с их стороны, Л. 107. признаком крайнего невежества, так как городское и земское дело находилось тогда в ведении Хозяйственного департамента, преобразованного впоследствии в Главное Управление по делам местного хозяйства.

Когда я вышел от князя Оболенского, дежурный при нем чиновник Палтов, оказавшийся, к моему изумлению, тоже чрезвычайно любезным и внимательным человеком, научил меня, как надо написать и подать прошение «о причислении к министерству внутренних дел с откомандированием для занятий в Земский Отдел», и посоветовал мне в дальнейшем представляться начальству не в сюртуке, а во фраке, который и был мною срочно заказан в тот же день. Для представления документов и принесения служебной присяги, я должен был явиться в Департамент Общих Дел, а в Земском Отделе, по совету того же Палтова, побывать прежде всего у помощника Управляющего этим отделом Б.Е. Иваницкого; это была первая фамилия, которую я услышал в стенах министерства внутренних дел, и, по воле судьбы, вся моя дальнейшая служба, с небольшими перерывами, была, в течении двадцати лет, связана именно с этим первым моим знакомым по Земскому Отделу. Принят я был им очень приветливо; хотя ему не было тогда еще сорока лет, но он уже был сед и лыс; очень подвижное, нервное и умное лицо его с блестящими через пенсне юношеским огнем

глазами становилось особенно привлекательным, когда он улыбался. ... Он достиг предельного для бюрократа назначения членом Государственного Совета. Здесь замечу только, что Б.Е. был общим любимцем молодежи Земского Отдела, а в обществе пользовался славой весьма остроумного собеседника; это качество осталось у него до старости, но с годами приобрело характер все более и более зрелого, раздражительного, хотя порою и очень тонкого юмора. Когда я познакомился с Б.Е. мне рассказывали много случаев о жертвах его находчивости и остроумия. Остался в памяти такой случай: Л. 108 в каком-то обществе Б.Е. встретился с фатоватым офицером конногвардейского полка; тоном провинциального простака он обратился к гвардейцу с вопросом: «В каком полку Вы изволите служить?» Тому уже самое незнание столичным жителем формы одного из наиболее блестящих полков показалось странно-обидным, и он, недовольным, полуобиженным, тоном ответил: «в конно-гвардейском». Второй вопрос в прежнем скромно-наивном тоне: «и хороший это полк?», окончательно взбесил офицера; бросив небрежно: «да, один из лучших», он зашагал по гостиной, обдумывая план мести; наконец, подошел в упор к Б.Е. и покровительственно осведомился: «а Вы где изволите служить?» Ответ: «в Земском Отделе». «И что же хороший это отдел?», насмешливо продолжал офицер. «Нет, неважный» скромно ответил Б.Е. Дальнейшего нападения после этого измыслить гвардейцу, конечно, не удалось. Подобных историй про Б.Е. рассказывалось множество, и это, при любви моей ко всему оригинальному и подходящему к границам скандала, не могло, конечно, не привлекать меня к нему. Б.Е. окончил два факультета: физико-математический и юридический; лет до тридцати был учителем физики, а, след, бюрократическую карьеру начал сравнительно поздно. Педагогические наклонности он сохранил на всю жизнь и любил разъяснять иногда простейшие вопросы, чем, впоследствии, часто меня изводил, так как в такие моменты я чувствовал себя возвращенным на ненавистную мне по скуке школьную скамью; юрист же он был всегда слабый, вообще, отвлеченной работы не любил, оживляясь больше всего при обсуждении различных, часто мелких, технических подробностей. В данном отношении мы, след, были полными контрастами и, я думаю, что бывали периоды, в которые он меня должен был, как человек нервный, ненавидеть...

В Департаменте Общих Дел — этом фактическом вершителе судеб нашей администрации — губернаторов и вице-губернаторов, куда я, как говорил уже, отправился для оформления моего причисления к министерству, я впервые встретил нелюбезный прием, Л. 109. даже не сухой бюрократический, каким я его себе рисовал теоретически по нашей литературе, а просто, выражаясь вульгарно, «хамский». Директор Департамента тогда был В.Ф. Трепов, заместивший, только что умершего от рака, барона Гревеница, по прозвищу «рыжий»; впоследствии, в должности члена Государственного Совета, он прославился интригой против бывшего тогда премьером П.А. Столыпина, воспользовавшись законопроектом последнего о введении земства в юго-западном крае.... Как многие еще помнят, покойный премьер придавал этому законопроекту значение «быть или

не быть» ему у власти; законопроект прошел через Думу, но встретил оппозицию в среде «правых» Государственного Совета, благодаря тому, что Трепов передавал слух о недовольстве государя проектом закона; Столыпин прибыл к роспуску законодательных палат на несколько дней и провел юго-западные земства в порядке Верховного Управления /ст. 87 основных законов/ и добился устранения Трепова из числа присутствующих членов Государственного Совета; это была большая победа Столыпина, но она могла бы быть гораздо крупнее, если бы палаты не были распущены, а законопроект был бы вторично внесен в Думу и принят ею; как тогда говорили, в таком случае, Столыпина ожидали в Думе овации, роспуск же палат, как принципиально не желательный, с их точки зрения, прецедент, повлек за собой демонстративный уход из председателей Думы, кажется, А.И. Гучкова и замены его М.В. Родзянко.

В.Ф. Трепова я никогда не видел раньше, по наружности его не знал; случаю угодно было, чтобы первое лицо в коридоре Департамента, с которым я встретился, был именно Трепов; я, полагая, что каждый человек имеет право разговаривать просто с другим человеком, очень вежливо попросил Трепова рассказать мне, когда можно быть принятым директором Департамента; меня осмотрели презрительно сверху вниз и, молча, оставили в коридоре в изумленном состоянии. Должен сказать, что в петербургских канцеляриях это был со мной единственный, исключительный случай подобного Л. 110. «мимического» собеседования начальства с просителем, и наблюдать мне в этом роде обращение приходилось иногда только со стороны полиции провинциальнейших городов России, некоторых почтовых и мелких канцелярских чиновников. На приеме Трепов был со мною, хотя уже и вежлив, но очень сух.

Попутно должен сказать, что вообще Департамент Общих Дел занимал в ведомстве внутренних дел какое-то особое положение: в нем были сосредоточены самые разнообразные, взаимно несвязанные дела по общей администрации, которые не могли быть отнесены по роду их к компетенции какого-нибудь определенного департамента, а главное — велись кандидатские списки губернаторов и вице-губернаторов, шла предварительная переписка о награждении их и т. п. Это придавало департаменту вес, не отвечавший, однако, деловому его качеству; в составе его были, конечно, тоже отдельные выдающиеся работники, например, заведовавший всей финансовой частью министерства вице-директор Шимкевич, позже С.Н. Палеолог, популярный теперь в Югославии руководитель делом устройства беженцев, и другие, но, в общем, состав этого Департамента был значительно по качеству ниже тех центральных учреждений, которые имели определенную деловую область, например, Земский Отдел, ведавший исключительно крестьянскими делами, Переселенческое Управление и проч.

Фактическое подчинение губернаторов, по существу являвшихся или, по крайней мере, долженствовавших быть органом междуведомственным, представительством верховной власти на местах, то влияние, которое на их служебную судьбу оказывали сравнительно второстепенные агенты этого министерства, служившие в Департаменте Общих Дел, превращало

местных представителей верховной власти в чиновников одного ведомства и ухудшало их личный состав. В последние годы был установлен порядок обсуждения кандидатуры на все вообще должности с 4-го класса, в том числе и губернаторские, в Совете Министров, и ведение губернаторских формуляров перешло, кажется, к канцелярии Совета; этим подчеркивалась междуведомственность Л. 111. должности губернаторов, но, к сожалению, фактически Департамент Общих Дел продолжал до некоторой степени пользоваться прежним влиянием на назначение общей нашей администрации и прохождение ею службы.

Поэтому должность директора названного департамента считалась особенно выгодной, переходной к высшим должностям бюрократической лестницы. После важничавшего В.Ф. Трепова на его место был назначен очень корректный и приветливый А.Д. Арбузов, под начальством которого мне пришлось некоторое время работать в Земском Отделе, где он занимал должность помощника управляющего этим отделом; жизнерадостный, *bon vivant*, он не очень много времени уделял работе, но был любим за то, что никому не желал и не причинял зла.

В течении месяца я никак не мог представиться высшему своему начальству — Управляющему Земским Отделом Г.Г. Савичу; он принимал раз в неделю, и три раза подряд прием почему-то отменялся, а потому в течении месяца я не мог приступить к работе, так как от него зависело указать мне то делопроизводство /так в ЗО назывались отделения Департамента, правами которого пользовался этот Отдел/, в котором я должен работать и вообще оформить приказом мое назначение. В четвертую пятницу только я был, наконец, принят Савичем. Тогда это был еще очень молодой для занимаемого им места человек — лет 36, красивый, уже очень грузный, с одутловатыми щеками, налитыми кровью глазами, и вообще с признаками, указывающими на склонность к апоплексии, от которой он и скончался скоропостижно лет через десять после нашего первого свидания. Принят я им был, уже наряженный во фрак, сухо, но вежливо; улыбнулся он только при расставании, когда я уже уходил, а потом снова вернулся для ответа на какой-то его дополнительный вопрос. Я через несколько часов от новых моих товарищей узнал причину улыбки начальства; дело в том, что я взял у портного фрак без примерки; оказалось, что он вшил фалды как-то вкось по бокам, почему сзади открывался вид на мои брюки, начиная от их пряжки. Кстати сказать, фрак я одевал изредка в балет и на редкие Л. 112. вечера, которые я посещал; поэтому я обошелся одним фраком в течении двадцати лет, продав его на базаре уже при большевиках. Мой фрак — показатель глупости модников: одновременно, сезона три-четыре, на протяжении 20 лет, сохраняя один и тот же фрак, я бывал одет по последней моде; мне даже приходилось иногда выслушивать такие комплименты: «Ого, как Вы следите за модой: в Париже только что появились остроконечные обрезы, а Вы уже успели обзавестись новым фраком». Не правы ли те, кто утверждает, что моды — это ставка портных на глупость и суетность людей?! Особенно, конечно, женщин, ибо невозможно понять, почему одно и то же может идти и толстым, и худым, и брюнеткам, и блондинкам? Я без какого-

то омерзения никогда не могу вспомнить об уродливых «турнюрах», которые были в моде в мое гимназическое время. Как будто бы не верх художественного вкуса одеваться индивидуально; так, как идет тебе именно, а не другим. Ну, как бы то ни было, а фрак мой, в первоначальном его виде, был уж чересчур «индивидуален», ибо вызвал улыбку даже занятого человека.

Покойный Г.Г. Савич был типичный чиновник: энергичный и умелый исполнитель велений начальства данного времени; поэтому он с одинаковой живостью проводил, прекрасно владея пером, указания и либерального по тому времени Министра И.Л. Горемыкина — человека высоких умственных и нравственных качеств и заместителя его, ретрограда и не подготовленного ни к какой деловой работе, Сипягина. Но при этом Савич был живой, не стесняемый никакими формальностями, дух деятеля, стремящегося найти наиболее знающий, способный и талантливый состав сотрудников. Вне всяких протекционных соображений, с горячим увлечением он выискивал, при всяком удобном случае, какого-нибудь провинциального работника, обращающего внимание своими знаниями, работой. Из описания мною состава Земского Отдела видно будет, как высок качественно был тогда его состав. Приведу пока только характерный случай с попыткой Г.Г., свидетелем которой был я сам, пригласить на Л. 113. службу политического ссыльного Кочаровского. В печати появилась его книга о крестьянской общине; кто автор этой книги, его социальное положение нам не было известно; Савич пришел в восторг от этой книги и, со свойственной ему горячностью, дал распоряжение разыскать немедленно автора и предложить ему место делопроизводителя; после наведения справок оказалось, что Кочаровский — политически неблагонадежен; С. не придавал этому никакого значения и обратился к директору департамента полиции с просьбой официально засвидетельствовать благонадежность Кочаровского; бывший тогда директором полиции Зволянский, приятель Савича, долго доказывал ему, что он абсолютно не может исполнить его просьбу. «Как же», говорил он чиновникам, «могу я выдать свидетельство о благонадежности человеку, который сослан в Якутскую область?», и называл Г.Г. сумасшедшим, но последний долго считал этот отказ со стороны Зволянского какой-то формальной придиркой и злился, так как без удостоверения о политической благонадежности зачисление на государственную службу было невозможно.

Систематической работе Савича и спокойной работе с ним его подчиненных очень много мешала его неуравновешенность, соединенная с каким-то самодурством в стиле старого московского купечества, усугублявшаяся к тому же склонностью его к спиртным напиткам. Вспыльчив он был до крайности. Часто из кабинета его раздавались неистовые крики его мощного голоса и долетали в приемную комнату совершенно нецензурные выражения. Особенно раздражался он на неисправность телефонных барышень, требуя немедленного ответа и соединения с просимым номером; настольный телефон прыгал в его руках, он, весь пунцовый, кричал: «черт вас дерит, да вы слушаете или нет!» и т. д., включительно до самых грубых ругательств. Раз он продолжал неистово ругаться, ничего не слушая и не

слыша, когда телефон уже был соединен с квартирой Горемыкина; дежуривший чиновник, стоявший у стола Савича, ясно расслышал в телефоне спокойный, но на этот раз удивленный голос министра: «Георгий Георгиевич, что это с Вами такое?». Чиновнику потребовалось несколько минут, пока ему удалось разъяснить взбешенному Савичу, Л. 114. что министр уже его слушает. Главным преследованиям и угнетениям со стороны С. подвергались ближайшие постоянные его сотрудники — два секретаря его: барон Н.Ю. Толь и В.Н. Полторацкий, прямо обожавшие Савича, в особенности первый из них, высокой доброты человек, старавшийся облегчить Савичу каждый его шаг, следивший за перепиской срочных бумаг, в течении большей части ночи, любовно исправлявший их после переписки и вообще редко расстававшийся с Савичем не только на службе, но и в частной его жизни; никаких служебных выгод при этом добрый барон не домогался, он мог бы давно быть губернатором, но он благоговел перед умом С. и сносил его вспыльчивый и грубый характер, зная, что он любим и ценим С., а для него С. был высшим авторитетом.

Кроме секретарей, больше и чаще других доставалось заведовавшему переписной частью Готовцеву; последний, в целях скорейшего получения вице-губернаторского поста, бросил место чиновника особых поручений при киевском генерал-губернаторе и взял для чего-то первое попавшееся скромное место в столице; в вице-губернаторы он так и не попал. Малейшая задержка в переписке какой-нибудь срочной бумаги вызывала нервное возбуждение Савича, что повторялось почти ежедневно, а в особо серьезных случаях он вызывал обоих секретарей и кричал: «назначить Готовцева вице-губернатором, нет, губернатором, немедленно, только чтобы духу его не было больше в Отделе». В критические моменты Г. имел обыкновение скрываться и тогда за него погибал старик курьер Поплавский, панически боявшийся Савича; другой старший курьер Катонский, прозванный «Катон», высокого роста, с громадными усами, держал себя всегда с величественным достоинством и успокаивающе действовал даже на Савича; некоторые провинциальные чиновники, даже предводители дворянства, подавали ему руку. Я, впрочем, никогда не мог понять, почему существовал у нас предрассудок не здороваться с курьерами за руку; среди них были очень почтенные люди, знатоки министерского делопроизводства, искренно привязанные к учреждению, во всяком случае, головой выше стоявшие многих полуграмотных писарей, с которыми Л. 115. принято было здороваться нормальным образом, как ос всеми чиновниками, а не одним кивком головы. Помню, как трус Поплавский однажды выбежал из кабинета С. с бессмысленно устремленными вперед глазами и пробежал мимо меня, задев даже меня за плечо, повторяя два слова: «Романова просят, Романова просят»; мне с трудом удалось его остановить и убедить, что дальше бежать незачем. Отдельные доклады делопроизводителей тоже нередко сопровождались криками, но последние, за очень малым исключением, импонировали даже Савичу знанием своей отрасли дела, а потому бурные, громкие разговоры их в кабинете начальства имели скорее характер острого спора, чем разноса.

Помню раз, во время дежурства при Савиче, вся приемная его, полная представляющихся лиц, в том числе несколько губернаторов и многочисленных просителей, мгновенно и панически опустела только под впечатлением долетевшего до нас издали разъяренного голоса Савича. Он впервые ввел дежурство молодых чиновников с высшим образованием для подачи справок и советов просителям и записи тех лиц, которые желают видеть его. Эта, на первый взгляд, мелкая мера имела серьезное значение для частных интересов, да и для репутации самого учреждения. Ранее, как во многих учреждениях и до последнего времени, дежурства несли, так называемые, неклассные «канцелярские» чиновники, люди и мало воспитанные, и совершенно не образованные; само собой разумеется, что никакого полезного совета, куда обратиться по данному делу, в каком порядке оно может быть разрешено и т. п., ожидать от такого «дежурного» чиновника нельзя; к этому добавляется обычная грубость маловоспитанного, но всегда желающего показать свое мнимое значение человека; нередки и случаи мелких взяток с их стороны, а, между тем, по ним масса публики составляла суждение о нравах и обычаях министерских канцелярий. Я знаю несколько случаев, когда совершенно почтенных, безупречных деятелей подвели именно такие безответственные мелкие агенты, письмоводители, журналисты и т. п. Например, один судебный следователь прослыл среди еврейского населения взяточником и против него было возбуждено даже судебное преследование только потому, что письмоводитель его, зная заранее, какое дело по признакам его должно быть прекращено, уговаривал подследственное лицо дать следователю через него взятку; дело, конечно, прекращалось, и легенда о взяточничестве следователя укреплялась. Помню также, как в одном, мало в общем, почтенном учреждении, один канцелярист систематически брал взятки за проведение орденов различным агентам этого учреждения, зная наперед какие наградные представления предположено уже одобрить начальством. Однажды, в Департаменте Общих Дел, я наткнулся на такую сцену: директор какого-то частного банка, с очень плохим знанием русского языка, доказывал, в весьма почтительной форме, право какого-то служащего банка на получение какого-то словесного звания, говорил, что представление об этом давно сделано и обещание удовлетворить его было дано уже, почему ему хотелось бы узнать только, в каком положении его дело сейчас. На все просьбы и доводы директора банка, дежурный канцелярист, несомненно, ничего не знавший и не понимавший в деле, необыкновенно важным и покровительственным тоном повторял: «могу сказать, к сожалению, одно, Ваша просьба совершенно невыполнима». Очевидно, мелкому чиновнику доставляло искреннее удовольствие разыгрывать роль какой-то власти перед директором банка, хотя бы ценой лжи, ибо пойти просто в соответственное отделение и навести там по делу справки было бы, конечно, признаком, что чиновники — только мелкая сошка в Департаменте. Поляк сокрушенно, но не без изумления, выходил уже из здания министерства, когда я, слышавший весь разговор, остановил его и объяснил ему какое значение имеют слова канцеляриста и указал ему в какое отделение Департамента ему надо



обратиться. Он был еще более изумлен моим советом, благодарил и несколько раз повторял: «а я думал, что от того пана зависит все мое дело». Подобную же сцену пришлось мне наблюдать и в Земского Отдела, после того, как у нас были введены дежурства для публики классных чинов. Я на пол часа почему-то опоздал на свое дежурство и, входя в первую приемную комнату, услышал еще издали знакомую фразу дежурившего канцеляриста /эти суточные дежурства предназначались исключительно для приема почтово-телеграфной корреспонденции/: «к сожалению, подобные ходатайства никогда не удовлетворяются». Я поспешил подойти к просительнице-даме, к которой относилась эта фраза, и через несколько минут ее простейшая просьба была удовлетворена, а канцелярист был разнесен мною за вмешательство не в свое дело.

Я остановился несколько подробно на этой служебной мелочи потому, что от провинциальных оппозиционных адвокатов мне иногда приходилось выслушивать насмешливые рассказы, что для ускорения дела в Сенате им приходилось «смазывать»; взятки давались канцеляристам, а адвокаты верили или делали вид что верят, будто бы мзда принималась обер-секретарями и чуть ли не самими сенаторами.

В бюрократической машине не должно быть мелочей; в ней каждый винтик должен быть чист и исправен. Савич это понимал и придавал этому большое значение.

Я сидел в дежурной комнате, всегда с интересом беседа с приехавшими с разных концов России администраторами, помещиками, волостными старшинами, инородцами и т. п. Прием начинался в час дня, а было уже три часа и Савич все не появлялся; большинство, как бывает на всех вообще приемах, томилось, зевало, ходило в зад и вперед по комнате; земские начальники расспрашивали меня каков Савич: любезен ли, не зол ли и т. д.; многие ведь вызывались для объяснений по службе; губернаторы злились, что им приходится ожидать, но уходить не решались, так как уже все равно потеряли много времени. Вдруг на лестнице и в вестибюле послышалось какое-то оживление, пробежал через переднюю со всегда испуганными глазами курьер Поплавский, на ходу прошептал: «управляющий приехал», и открыл двери в его кабинет, но в это самое время с лестницы донесся неистовый крик: «безобразие, хам, понятия нет о дисциплине, вон отсюда» и т. д.; в приемной все испуганно переглянулись, некоторые обратились ко мне с вопросами: «что это, кто это?» Я отвечал, конечно, что это приехал, мол, Савич, которого все так долго ожидали. Оказалось, что Савич по дороге в Министерство, по неосторожности извозчика, упал и колесо переехало ему ногу; это привело его уже само по себе в раздраженное состояние. Он, вообще, никогда не ездил на извозчиках спокойно; по живости его характера, ему всегда казалось, что везут его слишком медленно, что он зря теряет деловое время; случалось, что во время поездки на дачу к министру, он по дороге менял по три извозчика, он в бешенстве выскочил из пролетки и набросился на испуганного полицейского: «я еду к министру», говорил он, ударяя его пальцем по носу, «у меня срочные дела», снова удар пальцем по носу, «а ты смеешь меня задерживать». Околодочный так рас-

терялся от этого бурного натиска, что ему и в голову не могло прийти составить протокол об оскорблении его при исполнении служебных обязанностей. Поднимаясь по лестнице после падения с извозчика, Савич увидел на диване жандарма, принесшего ему какой-то пакет от директора департамента полиции; жандарм развалился на диване так, что почти лежал на нем; Савича он не узнал, а может быть и совсем не знал. Боль в ноге, поврежденной колесом, а может быть, отчасти, и раздражение на департамент полиции за отказ признать благонадежным политического ссыльного, обратил весь гнев Савича на несчастного жандарма. Через приемную Савич прошел весь пунцовый, хромая, с налитыми кровью глазами. Просители и представлявшиеся как-то замерли, пошептались друг с другом и тихонечко начали расходиться; когда я вышел из кабинета Савича, чтобы по очереди, которую он сам устанавливал, пригласить к нему ожидавших его лиц, осталось всего три-четыре человека. «Ну, и черт с ними», сказал мне Савич, когда узнал, что все разошлись; он понимал, конечно, причину опустения приемной и, в глубине души, чувствовал себя, без сомнения, смущенным.

Мне, избалованному добрым отношениями в семье и среди друзей, любившему личную свободу и бывшему, с гимназической скамьи, в виду легких успехов в «науках», преувеличенного высокого о себе мнения, с болезненно развитым, избалованным дешевыми успехами, самолюбием, казалось совершенно невозможным, чтобы на меня кто-нибудь мог кричать. И, действительно, как в первые же дни моей пансионской жизни я не допускал мысли, что я подвергнусь, обычным в отношении новичков, издевательствам и не подвергся таковым, так и на службе я ни разу не услышал при разговоре со мной повышенного голоса вспыльчивого Савича, он, видимо, чувствовал, что я не допущу такого тона со мной; впрочем, надо сказать, что к молодежи он относился очень ровно и хорошо, и случаи крика на молодых чиновников были исключениями; кара провинившихся, обыкновенно, осуществлялась через их непосредственное начальство — делопроизводителей. Например, Савич страшно обозлился на добродушного немца барона Фиркса, когда тот, будучи дежурным, подал ему список лиц, желающих видеть Савича, в котором «член присутствия» было, по рассеянности, через ять; Фиркса Савич спросил только зловещим шепотом: «что это такое?», указывая на слово «член», а делопроизводителю наговорил неприятностей и запретил представлять когда-либо Фиркса на штатную должность, почему последний года два просидел причисленным к отделу без жалованья; затем был назначен на скучнейшее дело — по рассмотрению приговоров сельских обществ о ссылках порочных членов и различных ходатайств ссыльно-поселенцев; побыв более года на такой переписке он впал в тоску: «Поше мой», говорил он часто мне со своим милым немецким акцентом, «все ссыльные, да ссыльные, это невозможно». Он начал посещать, сам будучи лютеранином, Петербургского Митрополита Антония, вел с ним большие беседы, а потом вдруг очутился в роли санитаря в Швейцарии в какой-то иезуитской больнице.

Хотя на меня С. никогда не повышал голоса, а, в случае недовольства мною, только краснел и переходил в задыхающийся шепот, столкнове-

ние мое с ним, по свойствам моего, тоже взбалмошного, характера, было неизбежно. С. имел склонность к тому, что называется «важничаньем»; например, выходя, по окончании службы, в приемную, он, на ходу, как то вбок, протягивал дежурному чиновнику руку, не глядя на него, и быстро говорил: «до свиданья-с»; пожимать руку начальства приходилось, часто видя уже только его спину. Я, взявший за свой идеал бюрократа, холодный корректный тип Каренина, в душе оставался склонным к дебошам студентом; манера прощаться со мною Савича обозлила меня, и я придумал мстительный план, как выйти из не нравившегося мне положения: после шести часов вечера я уходил в дальний угол приемной комнаты и стоял там до выхода Савича из кабинета; он, зная, что дежурный чиновник сидит за столом против дверей его кабинета, быстро выходил и сейчас же протягивал руку для прощания, я же медленно шел к руке начальства через всю комнату; протянутая рука висела в воздухе, лицо Савича делалось пунцовым и злым. Это было глупо с моей стороны, я не понимал тогда, что никакого умысла у торопящегося домой Савича задеть самолюбие молодого чиновника нет, но я получал от подобных выходов большое удовольствие: «на, мол, смотри и убеждайся, что свобода моя дороже всяких успехов у начальства». Когда я входил в кабинет к Савичу, я часто держал руку в кармане; он, молча, упорно на нее смотрел, а я делал вид, что ничего не замечаю. Иногда, когда ему надоедало почему-то долго видеть меня у себя в кабинете, он шептал: «голубчик, быть может, Вы могли бы ходить несколько скорее», я говорил почтительно: «слушаюсь» и двигался чрезвычайно медленно. Должен сказать, что к нарушению дисциплины, в сущности, подавал нам пример сам Савич, не говоря уже о его, часто нецензурных, выражениях и криках при посторонней публике, он, если не любил какого-нибудь начальника, открыто игнорировал его и даже ругал последними словами при своих подчиненных, даже при курьерах. Один товарищ министра, которого Савич терпеть не мог, прислал как-то раз к Савичу курьера за перепиской по какому-то делу; Савич писал срочную бумагу, обозлился, что его оторвали от хода его мыслей и крикнул: «скажи ему, чтобы убирался к...», последовало площадное ругательство.

При свойстве наших характеров, повторяю, отношение ко мне Савича должно было перейти в раздражительную вражду, и это именно обстоятельство заставило меня через несколько лет уйти из любимого мною учреждения. Но, несмотря на описанные мною черты характера Савича, а может быть, отчасти и благодаря им, я никакой злобы не питал к нему, наоборот любил его, как тип человека Л. 121. нешаблонного, незаурядного, чрезвычайно живого и, главное, вполне русского, т. е. удовлетворявшего главным и важнейшим, в мое идеале и представлении, чертам интересных и нужных людей.

Свойства живой души Савича особенно ярко сказались в той товарищеской сплоченности Земского Отдела, которую Савич считал обязательной для учреждения. Я помню, как он искренно был изумлен и рассержен, когда один чиновник обнаружил незнание имени и отчества какого-то, совершенно недавно причисленного к Отделу, молодого человека: «не знать,

как зовут вашего товарища по службе это — стыдно», говорил Савич. Сам правовед, он никогда не проявлял никаких признаков предпочтения «своих» чужим: лицеистам, универснтам и т. п.; все сотрудники Земского Отдела были, в его глазах, одной семьей, которая пополнялась по признакам, главным образом, делового, а не личного свойства.

За такие качества Савича, хотя часто и бранили после вспышек его, но в душе любили все служащие Отдела.

Когда я представился Савичу, он мне сказал, что я назначаюсь в 3-е делопроизводство; я понятия не имел, хорошо это или плохо; веря в значение протекции, я решил, что не худо будет, на всякий случай, напомнить Савичу, что я направлен к нему князем Оболенским; он спокойно на это ответил: «я об этом знаю», и подтвердил, чтобы я от правился представиться заведующим 3-им делопроизводством С.В. Корвин-Круковскому. Всех делопроизводств в отделе тогда было, кажется, 16; размещались служащие в двух этажах очень тесно. Каждое делопроизводство имело, большей частью, только по одной комнате, в которой начальник отделения — делопроизводитель работал вместе со всем персоналом отделения. Поэтому я сразу же познакомился со всеми моими будущими сослуживцами по 3-у делопроизводству. Корвин, впоследствии начальник Управления по делам о воинской повинности, скончавшийся теперь во время разных эвакуаций в Кисловодске от сыпного тифа, был очень хорошо воспитанный лицеист, но тоже весьма нервный человек, почему у него часто были стычки с Савичем. Первая фраза, которую я от него услышал после обычных приветствий, меня слегка изумила в устах лицеиста — этого идеального, со времен Пушкина, олицетворения корпоративной товарищеской спайки: «очень рад», сказал он, слегка картавя по обычаю всех лицеистов, «что получаю сотрудника — универсанта: Вам, по крайней мере, не надо будет у нас переучиваться», и при этом нервный взгляд на некоторые дальние столы, за которыми помещались несколько таких же юных, как я, чиновников. Ближе познакомившись с ними, я узнал, что дело было вовсе не в их образовательном цензе, а просто в том, что они ни к какой служебной карьере не стремились, мечтали хозяйничать в своих имениях, службой не интересовались и, так сказать, отбывали временную повинность — посидеть в Министерстве первые годы по окончании лицея; лицеисты ведь причислялись к тому или иному ведомству сразу же по окончании курса, так сказать механически, а нуждающиеся в средствах получали даже какое-то ежемесячное пособие впредь до назначения на штатное место. Особой ненавистью к канцелярским делам отличался, среди моих новых коллег, милейший и добродушнейший барон Врангель, года через два получивший место земского начальника в своем уезде. Ничто его так не смущало, а нас не веселило, как появление на его столе какого-нибудь толстого дела с надписью Корвина: «прошу разобрать и переговорить со мной». Шутя, мы иногда, в отсутствии барона В., раскладывали на его столе кипу разных старых дел; он, с обычным опозданием, являлся на службу, с ужасом смотрел на свой стол и начинал перелистывать дела, сокрушенно качал головой и, незаметно-тихо, исчезал дня на два-три «по болезни», в расчете,

что громоздкие дела будут разобраны в его отсутствие кем-нибудь другим. Понятно, что Корвин, заваленный работой, был рад всякой лишней рабочей силе в его делопроизводстве, а потому приветствовал мое появление. Хотя Корвин был, как я говорил, человек нервный и раздражительный, у нас вскоре установились прекрасные служебные отношения. Молодежь его боялась и уважала, т. е. при появлении его прекращала разговоры и не нарушала вообще тишины в комнате, чтобы не мешать ему заниматься. Называли мы его за глаза «наставником»; «тише, наставник идет», кричал кто-нибудь из причисленных: вспоминалась гимназия, становилось безотчетно весело, но новый «наставник» и «новая» гимназия куда были живее, интереснее старой.

На посторонние темы он редко беседовал с нами; во время работы часто злился, что-то шептал про себя, иногда опрокидывал чернильницу, и тогда вдруг раздраженно выкрикивал: «он таки дождетя, что я его выгодно со службы»; «он» — это был земский начальник, переписку о провинностях которого изучал К. и заливал чернилом [так в тексте].

У Корвина было три помощника: один назывался «старший» /столоначальник/ и два младших; причисленные были распределены между ними в качестве их помощников. Со всеми тремя я вскоре быстро сошелся и до конца жизни сохранил дружеские отношения, какие только возникают в молодости. Старший — юрист Петербургского Университета В.Ф. Добрынин, с характерным, английского типа, крупным бритым лицом, высокого роста, изящно всегда одетый, был человек очень хорошо образованный, начитанный, незаурядно от природы умный, но не способный ни к какой планомерной долгой работе; большие личные средства и любовь к широкой холостой жизни в столице отвлекали его постепенно от скромной чиновничьей работы и лет через десять — 12 он бросил государственную службу, заняв обычные для богатых людей места в различных «правлениях» частных обществ. Но тогда, в молодые годы, он еще хорошо работал, следил за юридической литературой и явился для меня первым учителем на службе. Мы много провели с ним вместе веселых вечеров; какие-то черты Дориана Грея делали его в моих глазах очень привлекательным, особенно за бутылкой вина с длинными остроумными беседами о женщинах, главным образом. Он, тоже спасаясь от большевиков, заболел манией преследования и скончался в Новороссийске в вагоне.

Младшие помощники были Н.Н. Принц и юрист Московского Университета Н.И. Воробьев. Если бы Н.Н. был современником Л. Толстого при творении им Анны Карениной, то я был бы убежден, что многие черты Стивы Облонского он списал с «Принцика», как называли мы его. Отличительной чертой этого милого моего друга была бесконечная доброта и добродушие, желание каждому чем-нибудь помочь, развеселить; он, с первых же дней нашего знакомства, Л. 124. вручил мне тетрадку, собственноручно им составленную, с образцами различной деловой переписки. Видя изумление на моем лице и предугадывая вопрос: «разве все надо писать одинаково, по шаблону, а нельзя по своему?» он ласково улыбаясь, предупредил меня: «видите ли, в служебной переписке имеются издавна

установленные формы по, так сказать, мелким текущим делам: например, вы читаете резолюцию делопроизводителя «о.б.п.», то есть оставить без последствий, находите у меня в моей тетради образец «о.б.п.», затем: «на расп. губ.» — губернатору на распоряжение и т. д. и т. д.; таких образцов здесь до сотни; привыкните к ним и будете в час в десять раз больше давать, чем при измышлении своих форм из головы; большие деловые бумаги, разные представления в Советы, рапорты в Сенат и т. п. — там, конечно, придется писать по-своему, но до этого Вы еще не скоро дойдете». Этот первый урок канцелярщины, так охотно и доброжелательно преподанный, сыграл большую роль в первых шагах моей службы. Как во всяком деле, так и в канцелярской работе, во время изученная техника его значительно облегчает работу, увеличивает производительность труда. Не даром ведь наши современники сапожники из бывших офицеров и чиновников абсолютно не в силах конкурировать, в смысле быстроты производства, с профессионалами: у них больше вкуса, изобретательности, добросовестности — чего хотите, по сравнению с простыми мастерами, но главного — школы, того навыка, который с юных лет дается практикой, знанием дела с азов, умением во всех мелочах, включительно до того, как разместить под рукой наиболее удобно материал и инструменты, каждый гвоздик, чтобы не потерять лишней секунды, вот этого дилетанту никогда не достигнуть. И в мелкой «текущей» работе чиновника технический навык и шаблон — громадный плюс: ненастоящий чиновник часто небольшое деловое письмо сочиняет и мусолит в течении времени, за которое настоящий чиновник написал бы таких писем десяток.

В обществе распространен взгляд на наш канцелярский стиль, как на нечто, в лучшем случае, смешное. Это неверно. Предрассудок этот относится к далеким временам. Язык наших канцелярий отличается строгой грамотностью, Л. 125. сжатостью и, главное, точностью. Его единственный недостаток в первые годы моей службы заключался в крайней, обычно, сухости, но на моих глазах язык этот во многих ведомствах эволюционировал в чисто литературный живой язык, сохранив при том основное свое качество — точность. Смешного «канцелярского стиля» я не застал, но слышал о нем от одного дореформенного чиновника: его юмористическая сторона заключалась в крайне почтительном отношении подчиненных к начальству и начальников во взаимных отношениях между собою; например, докладчик писал, должен был писать, всегда сомневаясь в своих силах разобраться в деле, даже правильно изложив его сущность, в таком роде: «сущность дела едва ли не сводится к следующему», но, Боже упаси, сказать просто, что «дело заключается в следующем», это было бы нескромно, невежливо по отношению к более осведомленной высшей власти. Начальство к начальству никогда не обращалось с возражениями; надо было всегда похвалить предложенную меру, указать на ее положительные стороны, а затем уже высказать соображения о совершенной ее негодности. В таком духе в мое время писало только министерство финансов, весьма одобряя предложенные меры и кончая отказом в деньгах на их осуществление. Кроме того, некоторые архаичные приемы переписки сохранялись еще в

канцеляриях самого затхлого министерства, если не считать его юрисконсульской части, а именно юстиции: там в каждом отделении имелся какой-то редактор, который исправлял и без того бесконечно в многочисленных инстанциях вылизанные бумажки.

Итак, добродушный «Принцик» научил меня элементарным началам канцелярской премудрости. Через несколько недель, когда мы уже окончательно подружились, он притащил на службу какой-то, невероятно поношенный, рыжий, а ранее, видимо, бывший черным, кожаный портфель: «поноси его первый год службы», сказал он мне, «это первый портфель ... такого-то», и мне была названа фамилия одного важного придворного старца, «он приносит счастье». Я, как тетрадь с образцами бумажек, так и портфель, хотя он был и менее интересен тетрадке, принял с благодарностью.

П. был такой человек, с которым нельзя было не сблизиться быстро; уж слишком он подкупал своей добротой, а кроме того, и был очень стилиен. Он любил острить, но остроты его «bons mots»<sup>1</sup> были без перца, слишком мягки и добры в стиле маркизов 18 века. Вне службы в холостой компании веселился от души, раскатываясь заразительным смехом, каким умеют смеяться только толстяки, при всяком удобном случае. Он не был женат, но жил всегда в семейной обстановке у своей горячо любимой тетки Е.П.К., матери одного из министров времен 2-й Государственной Думы; эта стильная красивая старуха напоминала мне своими строгими, но приветливыми чертами лица мою бабушку. Поэтому, хотя я и не любил вообще в холостой период моей жизни бывать в семейных домах, сравнительно часто навещал Е.П., иногда до поздней ночи просиживал за карточным столом, сам, по обыкновению, никогда не участвуя в игре, но получая большое удовольствие и отдых от наблюдения милой старосветской кампании игроков, в которой, кроме хозяйки дома и «Принцыка», принимала неизменное участие институтская подруга ее — старушка, сохранившая все манеры институтки и какой-нибудь престарелый генерал — член Государственного Совета и т. п.

«Принцык» жизнерадостно вскрикивал «шесть бубенций», «малый в пикенциях» и разные другие прибаутки; старушка-институтка никогда не пропускала таких возгласов без упрека: «Коля, где Вы получили воспитание?» Ответ был всегда: «в училище правоведения»; хотя это давным-давно было известно вопрошающей, но каждый раз она с чувством произносила: «не делает это чести вашему училищу». Старичок, от времен крепостного права, лакей Карп бесшумно подавал чай, иногда вставляя в общий разговор какое-нибудь замечание, вполне гармонируя своей манерой и держать себя, и говорить с доброй патриархальной компанией винтеров. Как-то раз, у генерала Р. Зазвонили в кармане часы с боем, заводившиеся им, чтобы напомнить о времени отъезда в какое-то заседание; напротив квартиры К. был трактир, который, на свободе, любил посещать Карп; услышав звонок и думая, что это звонят в трактир, он, испуганно,

---

<sup>1</sup> Буквально: «хорошие слова», «словечки», здесь — «каламбуры», «словесные выкрутасы».

на всю Л. 127. комнату с большим чувством прошептал: «Боже мой, никак трактир уже закрывают».

Вот такие милые, с добрым юмором сцены, по контрасту с моей холостой жизнью, доставляли мне минуты тихого, хорошего отдыха. Мир же в семье К. был нарушен назначением сына Е.П. министром, как раз во время усилившихся террористических актов; появились на лестнице дома охранники, иногда не разрешавшие министру выходить из дома; он в таких случаях удирал и от охранников, и от волнуемой матери черным ходом, через кухню. А после — война, революция разрушили совсем счастье этой хорошей русской семьи; дорогой добрый друг мой Н.Н., по-видимому, погиб; сын К. — молодой офицер, был убит на войне; вся семья распалась и старый лакей Карп умер, слава Богу, до революции.

Так как у П. было в Петербурге множество родственников и знакомых, он всегда торопился в праздничные дни из одного дома в другой, а если попадал в нашу холостую компанию — в какой-нибудь ресторан, то всегда вынимал часы и быстро говорил: «имею свободных только десять минут; рюмочку водки и бутерброд, а затем должен ехать», но стоило задать ему какой-нибудь вопрос из области бюрократических или придворных слухов, как о десяти минутах забывалось, начинались его рассказы, споры и покидал он нас «далеко за полночь», иногда под утро. Вследствие родственных связей с высшим бюрократическим миром /его два кузена были министрами/, которые, кстати сказать, П. не эксплуатировал для личных целей, довольствуясь скромной карьерой /впоследствии по Государственному Контролю/, у него, действительно, всегда были в запасе разные слухи о том, что такой-то уходит, а такой-то на его место и т. п., причем, слух, действительно, осуществлялся когда-нибудь — через год, два и более, и Н.Н., радостно улыбаясь в таких случаях, с каким-то особенно хитрым выражением лица, говорил: «а я что предсказывал еще такого-то числа, помните, в таком-то ресторане», и чувствовал себя победителем. Во время Японской войны П. в особенности живо реагировал на всякие слухи, и, не говоря прямо, но какими-то весьма туманными Л. 128 и отдаленными намеками предрекал «конституцию»; шепотом, с блеском в глазах, он каждому конфиденциально передавал при каждом удобном случае: «готовится нечто весьма важное; вот ты увидишь, узнаешь в свое время». Когда это важное свершилось, он ликующе напоминал опять: «а я что говорил».

Другой младший помощник Корвина — Н.И. Воробьев не был так колоритен, как Д. и П., но нас сблизила с ним любовь к музыке; у него в его холостой квартире устраивались трио и квартеты при участии любителей сослуживцев и профессиональных музыкантов Императорского оперного и придворного оркестра; сам хозяин играл на скрипке. Необыкновенно талантлив был постоянный пианист этих вечеров — чиновник нашего отдела С.П. Киприанов; он часто с листа читал трио Аренского, Чайковского и т. п., давая мощный полный удар, следя за инструментами, поправляя их, так сказать, дирижируя. Но, увы, обычная русская невыдержанность и халатность не дали развиться его большому таланту; он бросил службу и уехал в Лейпциг, в консерваторию, к стати сказать, — так же неожиданно



и внезапно, как поступил в Земский Отдел. У нас в Отделе он появился следующим оригинальным способом: явился на прием к Савичу и заявил, что желает причислиться к Земскому Отделу. На вопрос кто может его рекомендовать отвечал: «никто», а на вопрос о причинах желания служить в Отделе, объяснил, что его отец, служащий в ссудной сберегательной кассе, переехал на казенную квартиру на Фонтанке против министерства внутренних дел, почему ему будет близко ходить сюда на службу. Савич рассмеялся и, угадывая в Киприанове способного человека, зачислил его в отдел. В один прекрасный день мы с изумлением узнали вдруг, что Киприанов уехал в Лейпциг, а думали, что он просто по болезни не посещает службы несколько дней. Вернулся К. из Лейпцига года через два — у него не хватило денег на окончание консерватории; он сделал там большие успехи и занял какое-то скромное место в одном из музеев. Будь он еврей — мы бы его слушали, без сомнения, на концертной эстраде.

Н.И. Воробьев был очень исправный и усердный чиновник, но тяготел к жизни в своем имении на юге России, а за время Японской войны, где он добровольно работал в Красном Кресте, увлекся Л. 129. этнографией, собрал, возвращаясь в Россию, в Сиаме и других восточных странах, коллекцию музыкальных инструментов, и государственную службу бросил, посвятив себя всецело хозяйству в родных краях, после трагической гибели его брата — минеролога при падении, во время научной экскурсии на Эльбрус.

Таков был маленький кружок моих товарищей по службе в одной из ячеек Земского Отдела — в 3-ем делопроизводстве.

К предметам ведения этого делопроизводства относились дела об ответственности должностных лиц всех крестьянских учреждений, т. е. работа была исключительно юридического свойства. Но, несмотря на уверенность моего начальника, что мне не надо будет переучиваться, мне именно пришлось изучать почти совершенно неизвестное мне крестьянское законодательство в начале, конечно, преимущественно положения о земских и крестьянских начальниках, а затем и вообще Положения и различные узаконения о крестьянах. Настольной книгой для всех деятелей-юристов по крестьянскому делу являются комментированные И.Л. Горемыкиным толстые книги этих узаконений; это ценное издание ежегодно пополнялось новыми узаконениями и сенатской практикой, причем работа эта производилась уже членами Земского Отдела.

В первые месяцы службы приходилось, изучив «шаблоны», исполнять массу мелкой текущей переписки по резолюциям делопроизводителя; я не успевал ее закончить за шесть часов сидения в Отделе и работал часто еще дома по вечерам. За каждой мелкой бумажкой скрывается личный, иногда большой, интерес просителя; только усвоив себе правило, что мелочей на службе нет, а все требует одинакового внимания и заботливости, интересна или нет работа для самого исполнителя, можно достигнуть настоящей добросовестности в чиновничьем деле; так понимало работу большинство моих сослуживцев; за вечерние занятия на дому нам никогда не платили, они были совершенно добровольны.

Однако, занимаясь мелкими делами, я вскоре понял, что ждать поручения мне какой-либо более сложной работы, по инициативе самого начальства, не приходится: в канцеляриях более старые чиновники так всегда рады, что могут освободиться от массовой мелочи, что им и в голову обычно не приходит заняться дальнейшим обучением «причисленного», уже хотя бы потому, что на это надо тратить много времени. Между тем, для общей постановки дела, в целях своевременной подготовки своих заместителей, обучение молодежи нельзя не признавать одной из серьезных задач всякого начальства. Я в своей чиновничьей деятельности всегда впоследствии обращал внимание на эту сторону работы, и заботился не только о настоящем, но и о будущем, готовя себе заместителей в делопроизводстве. Также поступали и многие другие начальники отделений, понимавшие значение преемственности работы в чисто техническом ее значении.

При первых же шагах моей службы, приходилось завоевывать самому право на работу совершенно так же, как в адвокатуре завоевывается практика. Надо было самому добиться поручения какого-нибудь крупного дела, чтобы удачным исполнением его обратить на себя внимание и получить право в дальнейшем на более сравнительно ответственную работу. Те, кто игнорировал это условие службы, безнадежно, обычно, оставались причисленными к министерству, не получая штатного места, или переводились в провинцию. В описываемое время при Земском Отделе состояло уже свыше 20 причисленных; в год максимально открывались 3–4 вакансии, и вот, по моим расчетам, мне приходилось кандидатствовать 4–5 лет — срок, который мне не позволяли мои материальные средства /я получал от отца в месяц 50 руб. и имел бесплатную квартиру в семье Ковалевских — в Академии Художеств, куда я переехал через несколько месяцев поступления моего на службу/. Итак, я решил завоевывать себе деловую практику: испросил разрешение делопроизводителя знакомиться со входящими бумагами делопроизводства, выбрал сам себе раз одно сложное, но не спешное дело, требовавшее направления в Сенат, изучил подробно его правовую сторону и приступил к составлению рапорта Сенату от имени Министра. Как со стороны простым кажется канцелярский труд и как он сложен в действительности, в особенности для новичка, да еще получившего образование не по национальной, а общеевропейской программе! До сих пор помню какие муки я принял с составлением первого в жизни рапорта по делу каких-то крестьян Червяковых: и свидетели, и Л. 131. ответчики, и истцы, и владелец имения — все оказались с одной фамилией «Червяковы»; вся деревня от крепостного еще права носила фамилию помещика. При изложении дела это меня страшно сбивало. Не мог я также долго освоиться и с писанием «я» от имени Министра: все хотелось говорить от имени какого-то третьего лица; привычки писать под псевдонимом «М-р такой-то», что я потом проделывал всю жизнь, тогда у меня еще не могло быть, конечно. Тем не менее, самое гл — юр обоснование и заключение рапорта были сделаны мною правильно. Поэтому Корвин, прочтя эту мою первую ответственную работу, очень приветствовал меня, а затем, к величайшему моему изумлению, взяв красный карандаш, перечеркнул большую

часть рапорта и добавил, улыбаясь: «не смущайтесь, пожалуйста, вы будете, несомненно, писать прекрасно; требуется только опыт; вы разобрались в деле совершенно правильно». Когда я прочел написанный К. рапорт по тому же делу, я не мог не признать, что по логичности, доказательности и систематичности он отличался от моей работы, как небо от земли; написано было то же самое, решение проектировалось мое, но форма была иная, обеспечивающая успех дела в Сенате. С этого момента началось, уже при инициативе самого начальства, расширение круга поручаемых мне дел. Я уже почувствовал себя каким-то винтиком в министерской машине. Возможность полезного влияния даже на маленьком весьма месте я узнал особенно тогда, когда мне удалось помочь пересмотру дела одного земского начальника, который был предназначен к увольнению. Переписка об ответственности земских начальников всегда изобиловала всевозможными курьезами, в особенности в области применения ими знаменитой тогда 61 ст. Положения о земских начальниках, дававшей им право ареста и штрафа в административном порядке: то какой-нибудь земский штрафовал крестьян за то, что не свернули со своими возами с дороги перед его экипажем, то за то, что отказывались приобрести барабан для порки виноградных по приговорам волостного правления под звуки этого инструмента и т. д. Земские начальники, как известно, не пользовались популярностью; институт их был введен Императором Александром III вопреки мнению подавляющего большинства членов Государственного Совета; также меньшинством Совета принимались всегда и дальнейшие представления министра внутренних дел о распространении Положения о земских начальниках на другие части России... К нам в делопроизводство поступали копии всех всеподданнейших докладов для исполнения, согласно Высочайшим отметкам. В юго-западном крае удалось избежать введения земских начальников, благодаря необыкновенно смелому и энергичному сопротивлению киевского генерал-губернатора Драгомирова... Большинство Земского Отдела тоже не сочувствовало институту земских начальников. Поэтому, особенно при Г.Г. Савиче поблажки им не давалось, хотя в среде их, несомненно, было очень много вполне достойных и полезных работников, никогда, однако, не пользовавшихся в населении той хорошей популярностью, как позднейшие переселенческие и землеустроительные чиновники; придаток судебных функций и административного усмотрения являлся гл. дефектом земских начальников, чего новой формации сельские чиновники не имели.

Итак, когда я ознакомился с делом предназначенного к изгнанию земского начальника, меня поразили в переписке о нем печатные, заранее заготовленные, бланки судебного решения с таким текстом: «Идиотские требования...» затем пропуск для фамилии истца «не может быть удовлетворено, т. к.» и т. д. Ясно было, что земский начальник или психопат, или доведенный чем-то серьезным до полупсихопатического состояния человек; обращало также внимание, что по данным дела все «идиотские требования» исходили от важных, большей частью, титулованных особ и предъявлялись к крестьянам. Мне удалось убедить Корвина, а через него Савича,

что заочно нельзя разрешать подобного дела, что надо вызвать обвиняемого в Петербург; через несколько дней в приемной Савича уже сидел мой «клиент», удивительно оригинальный, старообрядческого типа, человек; Савичу, конечно, с большими усилиями удалось оставить его на службе, так как все дело сводилось к тому, как я и предполагал, что земский начальник был доведен до крайнего озлобления несправедливыми претензиями к местным крестьянам крупных помещиков — заводчиков. Он дал слово, что в дальнейшем будет приличен в форме общения его с просителями, но сдержать слова не был в состоянии и вынужден был бросить службу. Через год, когда мы с ним встретились, он говорил мне, что зарабатывает в десять раз больше, чем давало жалование земского начальника, ведет, в качестве поверенного, дела местных крестьян; приехал в Петербург искать себе помощника-юриста; я отказался ехать, так как тогда не мог расстаться со столицей. Забыл, к сожалению, фамилию этого почтенного и оригинального по взглядам человека; он ненавидел все не народное: фрак, например, считал «чертовым одеянием» и т. п.

Интерес, который я проявил к работе, опыт, который я успел приобрести в первый же год службы, не могли пройти незамеченными при таком начальнике, как Савич; если он не обратил внимания на то, кто меня рекомендует, то на полезность мою для его Отдела он должен был обратить внимание. И, действительно, вопреки всякому ожиданию, через восемь месяцев, после причисления моего к Отделу, я был назначен на первую штатную должность — младшего помощника делопроизводителя. В жизни чиновника первое назначение — это крупнейшее событие, смешное, может быть, со стороны, но с искренней радостью переживаемое самим чиновником, вероятно, как первый дебют артиста на серьезной сцене. Когда секретарь объявил мне о моем назначении и предложил расписаться в прочтении приказа, я испытал чувство удовлетворения, какого впоследствии больше никогда на службе не испытывал. Было ощущение, что я стал на ноги, хотя материальная сторона не могла серьезно в то время занимать молодых чиновников Земского Отдела; штаты его были старые, введенные еще тогда, когда этот отдел входил в состав канцелярии Комитета по освобождению крестьян. Младшему помощнику делопроизводителя было присвоено жалование в размере 33 руб. 33 коп. в месяц, а со всеми квартирными и наградными деньгами составляло около 1.100 руб. в год. Только через год или два в Отделе были введены нормальные штаты, принятые в других учреждениях, т. е. я стал по моей должности получать 1200 рублей в год жалования, кроме наградных денег, и мог, при моей очень скромной жизни, несмотря на частое посещение ресторанов, освободить отца от дальнейшей поддержки меня.

Было, след, какое-то другое чувство, какие-то другие основания радоваться своему первому служебному успеху. И в этом чувстве преобладало приятное сознание, что личная работа — важнее всего, а потому в дальнейшем, до конца моей службы, я никогда ни к каким протекциям не прибегал.

Мое глубокое убеждение, что всякий способный и добросовестный человек, если он только, действительно, стремился, действительно желал до-

стигнуть высоких ответственных должностей, достигал их в России своими личными усилиями. Конечно, я не имею в виду массы потерявших по глупым провинциальным углам чиновников; им часто трудно было выделиться, несмотря на их знания и работоспособность; но ведь и врачи, и адвокаты, которые по материальным соображениям вынуждены сразу же начинать работу вне культурных больших центров, карьеры не делали. За то провинциальная жизнь обычно лучше обставлялась в материальном отношении, особенно для лиц рано, еще на студенческой скамье, обзаводившихся семьями. Кроме того, надо сказать, что многие провинциальные работники, особенно судьи, так привязывались к своей деятельности, что часто отказывались променять ее на более по рангу высокое, но менее интересное для них место. Это наблюдалось мною даже и при материальном недостатке; я знал мировых судей, жены которых сами стирали белье, но которые так дорожили своим положением, своей работой, что их нельзя было соблазнить высшим назначением, например, в прокурорский надзор. Кстати сказать, много таких судей, в качестве представителей «нетрудящегося буржуазного класса» истреблены теперь большевистскими чрезвычайками.

Если и я лично, например, закончил свою службу на вице-директорской должности, то объясняется это, отчасти, тем, что служба моя была прервана войной и революцией, а, отчасти, свойствами моего свободолюбивого характера, потерей с годами вкуса к карьере, предпочтением ей иногда чисто личных стремлений.

Я знаю массу примеров, когда люди, без всяких связей и протекционных путей, достигали большого, относительно, положения, не исключая и министерских портфелей. Мой брат, например, в 38 лет был уже прокурором судебной палаты, несмотря даже на то, что не пользовался расположением министра Щегловитова. Гофмейстер А.В. Кривошеин — молодой министр начал службу в Петербурге, абсолютно не имея никаких ни родственных, ни придворных связей; по натуре своей, поставив себе единственно — главной целью жизни — добиться влиятельного по службе положения, он каждый шаг своей жизни сообразовал с этой целью и добился ее. Приамурский генерал-губернатор и шталмейстер Двора Н.Л. Гондати, также мещанского, подобно А.В. Кривошеину, происхождения, получил назначение на пост, который раньше вообще не предоставлялся гражданским чинам; вся его карьера была делом его личного труда и стремлений. Не стоит перечислять массу других, прошедших перед моими глазами, карьер; я Л. 136. назвал первые бросившиеся мне в память фамилии моих знакомых и начальников. Всем памятны назначения на министерские посты С.Ю. Витте, Ванновского — сына учителя, Боголепова — сына дьякона и т. д. и т. д. Служба в России была, несомненно, демократична, т. к. открывала пути способностям и личному труду для каждого, независимо от его происхождения.

Несмотря на то, что я был назначен в обход, так сказать, многих, ранее меня причислившихся к Отделу, у меня со всею молодежью сохранились наилучшие отношения: элемента несправедливости в моем назначении не было.

Знакомство и сближение мое с чиновниками других отделений Земского Отдела началось с первых же дней службы и постепенно у меня завязывались новые приятельские, дружеские или просто добрые отношения. В ряду этих знакомств один молодой чиновник — такой же причисленный к министерству, как и я, стал одним из самых близких моих друзей на всю жизнь, вплоть до его смерти в 1918 году, когда он, подобно многим другим бессмысленным жертвам нашего столетия, был расстрелян большевистской бандой по дороге в Киев; сначала ходили слухи, что он отправлен в Бутырскую тюрьму в Москве; я, ожидая его в Киеве, переходил от горя к надежде и, наконец, получилось подтверждение его гибели, очевидно, по той же причине, как и десятков тысяч других «представителей нетруddyщегося класса», хотя он всю жизнь упорно и добросовестно работал, не имея личных средств и, после 15 лет такой работы, получил вполне заслуженное им назначение на место делопроизводителя в том самом Отделении, в котором я начинал свою службу. Немецкого происхождения с немецкой фамилией — барон Б.А. Симолин был типично русским человеком, для которого Россия была лучшей страной в мире, а родной его город Казань — лучший город в России. Он очень волновался, хотя, как всегда, в очень доброй форме, когда речь заходила о сравнительном значении и преимуществах того или иного Университета; свою Казанскую *alma mater* он ставил выше даже МУ; любил особенно ссылаться на тексты любимых всеми студентами песен, в которых, действительно, часто упоминается и Волга, и река Казанка с Булаком, и Св. Харлампий, и прочие, дорогие казанцам места. Впрочем, несомненно, провинциальная и тихая по виду Казань, когда я ближе познакомился с этим городом, представляла из себя хорошее культурное гнездо, со своими университетскими, театральными и помещичьими традициями; русскому человеку не мог быть не мил этот городок. В то время я, однако, любитель столицы и Киева, яростно нападал на С. за его пристрастие к глухой провинции и осмеивал его искреннейшие дифирамбы Казани и Волге. На почве сильно развитого во мне национального чувства и потянуло меня к барону С., с которым мы виделись почти ежедневно, даже после того, как он женился на племяннице нашего общего сослуживца и приятеля В.Я. Е-а, несмотря на то, что обычно брак отдаляет людей от их прежней холостой компании; в молодые годы барон любил «богему»: жил в меблированных комнатах и с особым удовольствием готовил на керосинке какое-то излюбленное им «казанское» блюдо; ел и пил он так заразительно аппетитно, что и после обеда даже многие, не говоря уж обо мне, соблазнялись его стряпней; и в кулинарном деле, как во всем, он был глубоко национален: растягаи [так в тексте], осетрина, ботвинья, соленая капуста кочаном, вобла и т. п. — это были любимейшие его блюда; при кулинарных операциях одевалась обязательно татарская «тебетейка»; изготовление пищи и угощение сопровождалось всевозможными жизнерадостными причитаниями: «ну-ка, Романов, попробуй», и с чувством успешно исполненного долга, мне на вилку подносился какой-нибудь шипящий еще кусок; привычка самому иногда готовить осталась у него и после женитьбы его, к чему несколько иронически, но не без люб-

ви относилась его жена, жившая с ним душа в душу. Я вспоминаю о всех этих мелочах с большой любовью, потому что в них заложено было очень много хорошего непосредственного чувства, чего-то свежего и юного, что не ушло от С. до конца его жизни; вспоминаю, как о контрасте с теми представителями, которые принято иметь о столичных чиновниках, как о каких-то сухих безжизненных манекенах.

Частым гостем С. был наш любимец «Принцик», приезжавший, как всегда, на «десять минут» и просиживавший в комнате С. часто до утра, а так же неизменный член нашей компании доктор-хирург М.В. Костеркин; последний тоже кончил Казанский университет, поэтому с С. его связывали общие студенческие воспоминания, а кроме того, С., как естественника по образованию, привлекали к К. и медицинские его рассказы. С доктором К. с которым я долго жил совместно, после отъезда из Петербурга Ковалевских, связывала меня такая же дружба, как и с бароном С. Это был удивительно стильный по его простоте и нравственной чистоте, человек. Незаурядный хирург, работавший в одной из крупнейших столичных больниц, он органически ненавидел всякую рекламу, а потому и частную практику имел небольшую; рекламой же он считал не только чтение в ученых обществах рефератов по всякому мелочному случаю из практики, но даже и держание экзамена на степень доктора медицины; он, несмотря на убедительные советы его товарищей, никак не мог понять на что ему надо зубрить различные предметы, не относящиеся к его специальности, когда он имеет массу работы в хирургической больнице. За всю мою Петербургскую жизнь я не помню ни одного случая, когда бы К. опоздал в свою больницу, как бы поздно мы ни засиживались в нашей холостой компании; ровно в 8 часов утра и в будний день, и в праздник К. был на своем месте. По отзывам специалистов, из него выработался очень хороший хирург, но карьера его не занимала. Основной чертой его характера было стремление к абсолютной искренности, поэтому он так и привязался к барону С., у которого душа была на распашку. На меня же К. часто злился, считая, что я люблю «поломаться». Например, садимся ужинать и я, обычно специально для К. говорю: «чувствую, что организм мой требует сегодня мятной водки»; из-под нависших на глаза белых бровей К. сейчас же устремляет на меня злой взгляд: «ну, кому нужно это лицемерие; при чем тут организм? Просто хочешь выпить, так и говори!». В различных вариациях, такие сцены повторялись у нас неизменно при каждом свидании. Барон С. добродушно нас мирил и мы успокаивались до следующей «ссоры». Но любили мы друг друга очень сильно, и когда пришел конец моей холостой жизни К. был чрезвычайно огорчен. Узнав от меня о предстоящем событии в моей жизни, К. хотя было утро /мы были тогда вместе в отпуске в Ялте/, лег снова в кровать, закрылся одеялом, долго вздыхал и ничего мне не говорил; очень нескоро из-под одеяла раздался его голос, какой-то странно-задушенный и мрачный: «и кому это нужно?» С браком моим он, кажется, так никогда и не примирился в полной мере. Я был последний холостой его друг.

Барон Б.А. Смолин, кроме кулинарного искусства, служил еще и драматическому искусству, хотя, в общем, имел мало данных для сцены. Я, делая ему рекламу, приходя в театр, громко среди публики спрашивал у кассы прежде, чем купить билет: «а Басанин /он играл под этой фамилией/ участвует сегодня?» и, только получив утвердительный ответ, покупал билет; публика удивленно переглядывалась, так как играл он, обычно, второстепенные роли. Один летний сезон, уже будучи на службе, работал даже за плату в секретном порядке, в какой-то профессиональной дачной труппе.

Не буду останавливаться на целом ряде других хороших, добрых, честных, стильных, нешаблонных людей, с которыми я встретился на первом месте моей службы; их было много. Служебный, деловой интерес представляли для меня те, которые уже стояли во главе самостоятельных частей Отдела — «делопроизводство», так как по их знаниям и деловым качествам я мог судить какой ценз требуется для продвижения по службе. В этой среде, так сказать, старших чиновников я познакомился также с рядом весьма незаурядных людей, о многих из которых сохранил на всю жизнь самые лучшие, полные уважения, воспоминания.

Назову наиболее памятные мне.

Вторым помощником управляющего Земским Отделом, в первые годы моей службы, был С.А. Куколь-Яснопольский. Внешне это был человек очень сухой, корректный, с умным лицом, всегда изящно одетый, обычно в визитке. Он был связан всю жизнь сердечной дружбой с другим помощником управляющего, о Л. 140. котором я говорил выше, Б.Е. Иваницким, через которого я, впоследствии, познакомился с С.А. и его семьей частным домашним образом; тогда только я узнал какое благородное, доброе сердце, какая высокая корректность души скрывалась у С.А. за сухой внешней его корректностью. Это был русский джентльмен в полном смысле этого слова во всеми положительными национальными свойствами, с добавлением к ним европейского, скорее всего, английского, воспитания. Излюбленная им отрасль дела была коннозаводство; специалисты признавали его одним из лучших знатоков лошади в России; он всегда следил за литературой о лошади, выписывал массу журналов и различные новинки в этой области. В товарищеском кругу, за стаканом вина, это был остроумный, спокойный, милый собеседник, от общения с которым делалось всегда как-то хорошо, чисто на душе, вероятно, от сознания, что есть на свете такие «уютные» люди и что эти люди — русские, несмотря на свой английский облик. Глубоко религиозный человек и убежденный консерватор, он несколько затерялся, когда настало тревожное время в России; по себе он судил о других и не понял, не угадал той пропасти, в которую вел Россию последний министр внутренних дел Империи Протопопов и продолжал добросовестно сотрудничать в ведомстве уже в должности товарища министра. Но даже знаменитая Верховная Следственная Комиссия Временного Правительства, старавшаяся изыскать возможно более преступлений со стороны царской бюрократии, и та вынуждена была, после первых же допросов, отпустить на свободу благородного С.А., несмотря на служеб-



ную близость его к Протопопову; ни в чем, кроме честности, обвинить С.А. нельзя было.

С христианским смирением принял С.А. свою долю лишенного заработка, выброшенного за борт человека; личных средств у него не было и он, в зиму 1921 г. скончался от материальных невзгод в нищете и голоде, считая все происшедшее Волею Бога, на которого нельзя роптать.

От нас из Земского Отдела С.А. ушел, кажется, в 1900 году, будучи назначен на должность начальника вновь образованного, Л. 141. выделенного из состава Отдела, Управления по делам о воинской повинности, в каковой должности его впоследствии, как я уже говорил, заменил его помощник С.В. Корвин-Круковский — мой первый учитель по службе. Дела воинской повинности, чрезвычайно нервные, особенно при выработке и исполнении мобилизационных планов, были не под силу двум делопроизводствам нашего Отдела и затрудняли очень работу управляющего по ведению им других сложных отраслей специально-крестьянского дела.

Поэтому воинские дела и были выделены из Земского Отдела в самостоятельный Департамент или Управление, как стали в последнее время называть департаменты, подобно тому, как за год до поступления моего на службу было выделено переселенческое дело.

У нас знатоком дела по воинской повинности и неутомимым работником в этой области считался делопроизводитель А.П. Федоров, явившийся в новом Управлении главным сотрудником Куколя и Корвина. Подобно всем чиновникам с духовным образовательным цензом, он отличался необыкновенным трудолюбием и строгим формализмом; когда его помощники, во время различных мобилизационных разработок или, в особенности, пробных мобилизаций, уходили куда-нибудь из дома, они обязаны были оставлять точные адреса, например, Мариинский Театр, кресло № такой-то. А.П. Федоров прошел школу чиновника у старого дореформенного служаки некого Платова, признававшегося, по введении в России всеобщей воинской повинности, первым специалистом по этому делу. Платов был грубый провинциальный чиновник, во время занятий иногда, в припадке недовольства, запуская чернильницей в своих помощников. В губернском учреждении, в котором он служил несколько десятков лет, у него вышла грязная юмористическая история, отдававшая гоголевскими временами, которая послужила предметом разбирательства в административном департаменте Сената. Я, из любопытства, прочел указ Сената по этому делу, кстати сказать, хранившийся в делопроизводстве того самого Отдела, на службе в котором состоял виновный. Сущность этого дела, изобиловавшего многими бытовыми подробностями, сводилась к следующему: некий мелкий чиновник Оранжевый получил в подарок от губернатора, при его отъезде к новому месту назначения, брюки; последние очень понравились Платову и он их отобрал от своего подчиненного; тот взбунтовался, наговорил дерзостей, за что П. распорядился выпороть бунтовщика. Сенат подверг Платова вычету какого-то значительного числа лет из времени его службы. Нужны были, следовательно, совершенно исключи-

тельные знания и работоспособность, чтобы с таким формуляром попасть в центральное учреждение.

А.П. Федоров усвоил от своего старого учителя все знания и умение работать, но, конечно, без его самодурства и архаичности в служебных отношениях.

При Савиче, да, кажется, и после него, должности делопроизводителей замещались, главным образом, чиновниками, особенно выделившимися в провинции, преимущественно на должностях непреходящих членов губернских крестьянских учреждений; должность делопроизводителя, большей частью, являлась для них переходной на губернаторские или высшие министерские должности /вице-губернаторские, директоров департаментов и т. п./.

Наиболее выдающимися из приглашенных при мне таким порядком делопроизводителей были: Г.В. Глинка, И.М. Страховский и И.И. Крафт.

Г.В. Глинка — юрист Московского Университета, помещик, земледелец, бывший одно время помощник знаменитого присяжного поверенного Плевако и затем непреходящим членом крестьянского присутствия в своей родной Смоленской губернии, единственный в живых близкий родственник нашего великого композитора — представлял из себя, во многих отношениях, человека совершенно незаурядного и выдающегося знатока сельского быта и права. Я постепенно сблизился с ним до искренне-дружеских отношений и впоследствии значительную, лучшую часть моей службы провел под непосредственным его начальством. Поэтому, в дальнейших моих воспоминаниях, мне придется еще возвращаться неоднократно к этому дорогому мне, по многим причинам, человеку, несмотря на те служебные трения и, так сказать, «сцены», которыми изобиловали наши отношения по службе.

За время моей работы в Земском Отделе я был на дому у Г.В. не более двух-трех раз. У меня остался в памяти красивый строгий облик его матери, которую он обожал, по-видимому, в такой же степени, как я свою бабушку; с тем же обожанием относился он к своему единственному сыну Воле? — молодому правоведину, перешедшему потом в Политехнический институт; впоследствии Воля и его жена составляли всю семью Г.В., и он с ними почти не разлучался. Невероятно тяжелую душевную боль и борьбу пришлось пережить прежде чем решиться сообщить Г.В., что его Воля убит большевиками при первом занятии ими Киева в 1918 году.

Отличительной чертой Г.В., которая не изменилась в нем никогда, была его глубокая религиозность и столько же глубокий национализм, какая-то прямо болезненная любовь ко всему родному, в особенности же к нашему крестьянству. Религиозность его выражалась не только в обычном посещении богослужений, но и в выдающемся знании священных писаний и церковной истории. Народничество его принимало порою какие-то даже уродливые формы, которые на службе злили, а в частной жизни смешивали. Он убежденно или просто бессознательно как-то, в этом я не мог разобраться, считал, что умнее русского крестьянина нет никого и ничего на свете, почему «интеллигентское» вмешательство в его жизнь может быть часто только вредно: сам, иол, народ отлично разберется в том, что ему надо. Довольно сумбурные взгляды его на этот предмет были проникнуты

чем-то вроде Толстовского утопизма. Конечно, в них была огромная доля истины — мы скоро, без сомнения, будем свидетелями, а если не мы, то наши дети, мощного расцвета крестьянской России, надо думать, с призванным крестьянством царем во главе; но до такой идеологии не доходил тогда Г.В., а просто в мелочах злился на всякие вредные, по его мнению, опыты с крестьянством; например, злобствовал он часто на ученых агрономов, считая, что они дают крестьянам не то, что им надо; начинались нападки его на агрономию всегда с примера, как когда-то в его уезд приехал какой-то агроном для чтения крестьянам лекций по молочному хозяйству: «читал, читал», злобно говорил Г.В., «а не догадался сукин сын, узнать сначала, есть ли у крестьян коровы; на кой черт им знать, как получают молочные продукты и как по интеллигентному ходить за коровой, когда самой-то коровы, черт ее дери, нет!»

В Земском Отделе Г.В. дослужился до должности помощника управляющего этим отделом по делам продовольственным; фактически в его руках, таким образом, было сосредоточено руководство всем продовольственным делом Империи. Когда Савича на должности управляющего Отделом заменил Гурко, то последний, как человек очень властный, начал теснить Г.В., предполагался даже перевод его на низшую должность, но он уехал в командировку и странствовал до тех пор, пока не состоялось назначение его на должность помощника начальника Переселенческого Управления, по приглашению тогдашнего начальника этого управления А.В. Кривошеина; в этом управлении, которое Г.В. скоро и надолго возглавил, открылась ему широкая почва для его талантливой энергии и любви к крестьянам; широко и бесплатно наделять землю крестьянские массы — это наиболее отвечало душевным стремлениям и бессознательным идеалам Г.В. О моей работе в этом управлении, под бессменным руководством Г.В., я расскажу ниже, теперь же вернусь к сослуживцам по Земскому Отделу.

И.М. Страховский представлял из себя тип ученого юриста; всегда ровный, спокойный, приветливый, он и на службе, и дома более всего интересовался правовой стороной крестьянского дела; его статьи, в популярном среди юристов журнале Гессена и Набокова «Право», отличались тонким анализом, изящным стилем и обращали на себя внимание в юридическом мире. Не знаю, каким он был губернатором /без сомнения строго лояльным и корректным/, но настоящее место его, конечно, было в столице; какие причины помешали ему удержаться в Петербурге — я не помню.

И.И. Крафт, даже для смелого по выбору сотрудников Савича, представлял весьма необыкновенное явление в петербургской канцелярии. Провинциал-сибиряк, без всякого образовательного ценза, он начал службу почтальоном или сортировщиком писем в г. Якутске; одно время был даже волостным писарем; на свой опыт, будучи уже губернатором, он любил ссылаться в разных важных совещаниях, чем приводил в немалое изумление других губернаторов и различных сановников. Постепенно, работая над своим самообразованием, читая, он дослужился в Сибири до советника Забайкальского Областного Правления, где на его способности обратил внимание военный губернатор области и наказной атаман Забай-

кальского казачьего войска Барабаш, взявший с собою И.И. на должность старшего советника Тургайского Правления, когда он был переведен на должность военного губернатора в той области; здесь И.И. близко ознакомился с бытом и правовым положением киргизского населения, среди которого пользовался большой популярностью; по поводу последней, врагами И.И. распространялись ложные слухи о небескорыстной роли его в деле защиты киргизских интересов; он, действительно, понимал интересы эти довольно односторонне, как видно будет ниже, но, без сомнения, искренно и глубоко любил киргизов; маленькие же сбережения его, за весьма продолжительную службу и очень экономную жизнь, были лучшими показателями его честной работы. В Оренбурге, являвшемся центром управления не только Оренбургской губернии, но и Тургайской области, почему это был единственный в России город, в котором проживало два губернатора, Крафт начал заниматься в архиве и в результате издал ценную работу: комментированные законодательно-историческими первоисточниками и сенатскими разъяснениями положения о степных областях и киргизах. Эта работа, по переезде его в столицу, открыла ему двери Археологического института, несмотря на отсутствие даже среднего образовательного ценза, и он окончил курс этого Института, уже будучи на службе в Земском Отделе.

Савич о деятельности Крафта имел сведения от Барабаша и, конечно, как только освободилась вакансия делопроизводителя по делам сибирских и степных инородцев, пригласил его на эту должность.

Глубокий провинциализм Крафта, самый внешний его вид — он нарядился в какой-то чрезвычайно дешевый сюртук, купленный, по случаю, за 8 рублей и, согласно столичной моде, в цилиндре, приобретенном на толкучем рынке, весь какой-то взъерошенный, как пудель, — все это долго служило предметом различных веселых шуток со стороны сослуживцев. Помню, как один мрачный циник, разочарованный в женщинах, презиравший и любивший их только в самых грубых целях, уговорил Крафта поехать с ним в «высшее светское» общество Петербурга; Крафт испугался, но после долгих уговариваний, согласился и был привезен на маскарад в приказчиный клуб, известный своими, легкого поведения, маскарадными дамами. Его спутник предупредил его, чтобы он ничему не изумлялся, так как столичные нравы отличаются необыкновенной вольностью по сравнению с сибирскими. Несмотря на это, Крафт, изумленный роскошью зал старинного особняка, который занимал Приказчиный Клуб, был все-таки совершенно потрясен, когда услышал разговоры и почувствовал на самом себе, действительно, необычайно свободные жесты двух дам, которым он был представлен в необыкновенно почтительной форме его товарищем. Пока его дергали за его длинную бороду, он еще считал, что это признаки великосветского вольнодумства, но, когда началось еще более фамильярное обращение, он догадался в какой круг общества ему пришлось попасть в первые же дни его столичной жизни. Савич, которому рассказали об этой истории, много смеялся, вызвал Крафта к себе и, притворяясь серьезно рассерженным, сделал ему выговор на тему, что вот, мол, серьезный че-

ловец, так сказать, ученый, и вдруг, не успев приехать в столицу, как попал уже в полусвет, т. е. пустился по скользкому пути. Крафт, принимая шуточный разнос начальства за серьезный, был очень сконфужен, оправдывался, что он ехал с целью познакомиться с Петербургским Л. 147. светом и т. д., и вышел из кабинета Савича красный, как рак, в недоумении, кто мог довести Савичу о его приключении.

Через несколько дней Савич лично уже встретил Крафта поздней ночью с дамой, наружность которой не оставляла сомнений, что она принадлежит к завсегдашним приказчичьих маскарадов. На ближайшем докладе Крафта Савич спросил, что это за дама гуляла с ним. Крафт опять сконфузился и нерешительно проговорил, что это племянница губернатора Барабаша. Савич только улыбнулся по поводу столь наивной хитрости Крафта.

В самом департаменте Крафт, приходя на службу, по провинциальной привычке, рано утром, по ошибке представлялся курьерам и т. п., а раз был сбит окончательно с толку: в каком-то доме он играл в винт с важными чиновниками, среди игроков был некий Мацкевич. Когда на другой день Крафт пришел на службу, первое лицо, встретившееся ему в вестибюле, был именно Мацкевич, которого Крафт поспешил почтительно приветствовать, как нового своего знакомого. Вдруг сверху раздается голос нашего курьера Катона: «Эй, Мацкевич, послушай, приехал уже товарищ министра?» Крафт остолбенел от такого фамильярного обращения с Мацкевичем, но потом узнал от меня, что Мацкевич главный курьер Переселенческого управления, в помещении которого находится и кабинет одного из товарищей министра.

Несмотря на свою деловую серьезность, чрезвычайно солидный внешний вид: большая черная борода, очки, глухой, как из бочки голос, очень застенчивые манеры, Крафт имел большую слабость к женскому полу, различным веселым похождениям, осложнявшимся нередко довольно серьезными неприятностями, из которых иногда и мне приходилось его выручать.

Пробыв много лет в должности губернатора, сначала Якутского, а потом Енисейского, т. е. исключительно личным трудом достигнув предельного для него служебного положения, он умер во время войны, как-то одиноко, на руках одного моего сослуживца: «придется сделать последнюю в жизни глупость», сказал он в последнюю минуту. Материалистических взглядов на жизнь, чуждый, какой бы то ни было мерафизической философии, абсолютно ничего не понимавший в музыке, да и вообще в искусстве, он был честной рабочей силой сибирского уклада; сблизить меня с ним могла только работа, и в этой области я ему очень многим обязан, о чем скажу несколько слов ниже.

При мне был приглашен из провинции Савичем, на скромное место старшего помощника делопроизводителя, и такой необыкновенно способный человек, как П.П. Зубовский, впоследствии товарищ министра земледелия.

Из делопроизводителей, которых я застал уже в Отделе от прежних времен, особенно остались в моей памяти, как наиболее характерные, П.И. Рождественский, Д.И. Пестржецкий и В.И. Якобсон.

Рождественский был делопроизводителем со дня учреждения Земского Отдела в 1861 году, т. е. работал еще в Отделе, как в канцелярии Комитета по освобождению крестьян; не в пример прочим, он имел чин тайного советника. По внешности он сохранил вид чиновников эпохи Императора Николая I: брил усы и подбородок, носил пушистые, всегда аккуратно причесанные баки; клок волос на лбу был всегда завит; для приведения его в такой вид, к нему на дом каждое утро являлся парикмахер. Со всеми сослуживцами одинаково, не исключая совершенно зеленой молодежи, он был поразительно любезен и ласков; в старческих его глазах светилась такая масса любви к людям вообще, а к товарищам по службе в особенности, что о нем смело мог бы Гоголь сказать: «вот, кто исполнил мой совет не терять по дороге к старости движений молодой души, сберечь их до конца». Умер он, получив давно заслуженное им назначение на должность члена Совета Министра.

Д.И. Пестржецкий, подобно И.М. Страховскому, был чиновник учебного типа и впоследствии получил, действительно, профессию в Училище Правоведения. Подобно большинству кабинетных работников, он был человек очень рассеянный, но желая быть всегда любезным, он для каждого сослуживца имел обычную готовую фразу для недолгого и легкого собеседования при встрече. Меня он, например, любил встречать фразой: «а все-таки слышен у вас малороссийский выговор», другому моему сослуживцу — семейному человеку — бросал ласково всегда: «ну, как здоровье ваших деточек?». Потом, перепутав через несколько месяцев к кому относятся деточки, а к кому малорусский выговор, начинал спрашивать у меня о здоровье тех, кого я никогда в жизни не имел. Я не обращал на это внимания и так же ласково, как задавался вопрос, отвечал глубокой благодарностью. Д.И. Пестржецкий был при мне главным составителем и редактором знаменитых Горемыкинских сборников крестьянских законов.

В.И. Якобсон, удивительно добрый, мягкий и воспитанный человек, был фанатиком чиншевых дел, которые были сосредоточены в его делопроизводстве. Он убежденно считал дураком всякого высшего чиновника, если он пытался не соглашаться с его заключениями; он мне очень хвалил в Земском Отделе только одного Б.Е. Иваницкого: «все-таки Борис славный и умный человек», говорил он мне /за глаза Иваницкого почти все называли Борисом/, «не то, что такие-то» и далее шел длинный синодик бывших и нынешних видных чиновников крестьянских учреждений, сенаторов крестьянского /2-го/ департамента и пр., «он все-таки понимает сложность и своеобразие чиншевых дел». На мои расспросы в чем именно выражаются знания Б.Е. в области этих дел, я получал разъяснения, которые, в сущности, указывали на полное равнодушие Б.Е. к чиншевому праву и совершенно правильное доверие его к такому специалисту, как В.И., бумаги коего, рапорты в Сенат, главным образом, пропускал Б.Е. без всяких разговоров. Те же, кто пытался «разговаривать» с В.И. и возражать ему, заслуживали от него эпитет дурака; поэтому у него, при всей его доброте, был целый ряд сановников, которых он считал чуть ли не своими личными врагами. Молодежи, интересовавшейся тем или иным

чиншевым институтом или данным крупным процессом, Якобсон всегда очень охотно и радостно читал целые лекции; такие же лекции он иногда преподносил и группам приезжавших в Петербург крестьян-просителей, которые, любя всякую «ученость», прямо благоговейно ему внимали. Он с такой ревностью относился к порученным ему делам, что раз, уехав в отпуск, распустил своих помощников и, к изумлению начальства, запер на ключ свой кабинет, чтобы никто не мог в его отсутствие, «впутаться в его область».

Говорили, что он неоднократно отказывался от более выгодных по службе назначений, лишь бы не расстаться со своей излюбленной работой.

В последний раз, перед войной, я встретился с Якобсоном на одном товарищеском обеде; полушутя я напомнил ему об одном чиншевом процессе, слушавшемся в Сенате и затем высказал свои соображения почему Якобсон хорошо относился только к одному Б.Е. Иваницкому. Он очень оживился, начал со мною спорить, но было время расходиться и он несколько раз повторил мне, что нам надо будет еще встретиться, чтобы подробнее побеседовать по затронутому мною вопросу. Следующая и последняя наша встреча произошла на площади Министерства внутренних дел у Чернышева моста в день первого выступления большевиков. Трещали пулеметы, в городе царило какое-то бестолковое волнение, все торопились по домам, и я радовался, что добираюсь до тихого сравнительно Чернышева переулка; вдруг на площади меня останавливает знакомый ласковый голос, такой же спокойный, как всегда: «мамочка, откуда это вы, куда?» С портфелем дел передо мною стоял милый В.И. Якобсон. Слово за слово, под треск пулеметов, на который он не обращал никакого внимания, Якобсон вдруг вспомнил о нашем «чиншевом споре» за последним обедом; «э, нет, мамочка, этого так оставить нельзя, нам надо, как-нибудь, подробно побеседовать; сейчас, конечно, не совсем удобно, но если задержитесь в Питере, то зайдите к нам в министерство; мы подробно поговорим, и я вам прочту выдержки из моего рапорта в Сенат». Я не задержался в столице ни одного лишнего дня, и собеседование наше так и не состоялось. Я уверен, что до последней возможности фанатик своего дела Якобсон оставался на своем скромном, но полезном посту.

Взаимному сближению всех чиновников Земского Отдела много способствовали ежегодные наши обеды в день освобождения крестьян — 19 февраля. Через месяц службы, побывав на таком обеде, я с большинством сослуживцев, согласно обычаю Отдела пить брудершафты, был на «ты». Обеды наши носили очень теплый душевный характер; в них принимали участи не только служащие ЗО, но, большей частью, и тех Управлений, которые выделены из его состава: Переселенческого и Воинского. Председательствовал на обеде старейший по возрасту, а не по должности, т. е. в течение лет десяти, кажется, наш заслуженный делопроизводитель П.И. Рождественский; когда подавалось шампанское П.И. торжественно вставал и прочувственным дрожащим старческим голосом произносил: «первый в благоговейном молчании тост наш памяти незабвенного Царя-Освободителя Императора Александра Николаевича». Затем им

же провозглашался тост за здоровье «ныне благополучно царствующего Государя Императора Николая Александровича», и этими двумя тостами старец Рождественский считал свои председательские обязанности законченными. Начинались различные тосты, спичи и речи, без разрешения председателя обеда. В бюрократической жизни, до введения у нас представительных учреждений, обеда, в сущности, были почти единственным местом применения ораторских талантов чиновников, так как в старом Государственном Совете или Сенате приходилось выступать только самым высшим министерским чинам. Не будь Государственной Думы, никто и не подозревал бы какой сильный оратор скрывается, например, в Столыпине. Русские любят поговорить, и за обедами нашими произносились даже почти «программные» речи, направление которых колебалось в зависимости от подъема или упадка патриотически-национальных настроений в России; в период реакции, например, при Сипягине, в речах слышались оппозиционные ноты, они восхваляли более всего самую великую реформу, стараясь подчеркнуть игнорирование современности, в период же конца Японской войны и угроз по адресу верховной власти поднималось чувство защиты ее от разрушителей, исполнялся многократно гимн, говорились горячие патриотические тосты — чиновничество отражало на себе переживание страны. На одном из первых моих обедов я нашел у себя под салфеткой, так же, как и все мои соседи, воззвание о необходимости свергнуть «тирана» и т. п., составленное в знакомых мне уныло-шаблонных тонах студенческих прокламаций. Как могли незамеченными пробраться в такой ресторан, как Донон, где ранее обычно устраивались наши обеда, распространители прокламаций — не знаю. На том же обеде была сказана самая длинная речь, какую мне когда-либо приходилось слышать за обедом, почему у меня едва не вышло столкновение с оратором, закончившееся, в общем, хорошими приятельскими отношениями. Это был вновь причисленный к Отделу В.А. Глухарев, перешедший вскоре к более удовлетворявшей его наклонностям службе по прокурорскому надзору. Он, действительно, говорил очень свободно, красиво, но с невероятными длиннотами. Начал он свою речь «осени себя крестным знаменем русский народ» и рассказал нам всю историю освобождения крестьян; так как во время речей нельзя было шуметь, трудно было даже есть и пить, я не выдержал, прервал его речь и сказал, что вывод из речи Глухарева уже ясен — он хочет предложить нам тост за русского крестьянина; произошло крупное объяснение с обиженным Глухаревым, но нас вскоре помирили. Из-за красного словца Глухарев часто вредил себе по службе; так во время усиленных работ по хуторскому устройству крестьян, когда новый управляющий Земским Отделом увозил на лето к себе некоторых молодых чиновников для разработки каких-то материалов по земельному устройству, Глухарев в своей застольной речи наговорил чего-то такого о «хуторских мальчишках», что управляющий на другой день после обеда заявил ему: «ну, счастье ваше, что вы предпочитаете прокурорскую службу крестьянскому делу». Обычно, в том же ресторане, но в другом зале, обедали мировые посредники первого призыва; депутация от нас приносила им поздравления



с великим днем, а затем некоторые из них приходили к нам для ответного приветствия. Ряды этих заслуженных деятелей с каждым годом редели. Помню в среде их характерные лица Семенова-Тяньшанского и князя Хилкова. Однажды появился среди нас сын знаменитого Унковского; он пожелал нам, чтобы Земский Отдел был всегда «не от дел, а к делам». Впоследствии я познакомился с этим необыкновенно жизнерадостным и подвижным человеком ближе; он совершенно не мог обходиться без острых словечек: «это вы, М.А.?», сейчас же раздается радостный ответ: «с'est je, как говорят французы»<sup>1</sup>, и дальше целый каскад прибауток.

Особой торжественностью отличался наш обед в день пятидесятилетия освобождения крестьян. Обед был устроен в большой квартире Министра Внутренних Дел на Морской улице; председательствовал за обедом П.А. Столыпин, рядом с ним сидели разные министры или бывшие министры: И.А. Горемыкин, В.Н. Коковцев, И.Г. Щегловитов, А.С. Стишинский и проч. В своем тосте за сотрудников его по крестьянскому делу, Столыпин, охарактеризовав значение каждого отдельного ведомства, предложил выпить за Щегловитова, за тем за Коковцова и т. д. Коковцов немедленно использовал эту умышленную или без умысла рассеянность нашего премьера и в ответном тосте сказал: «почти лице старче»; так как П.А. забыл об этом старом правиле и так как ведомство финансов имеет для крестьянского дела более значения нежели министерство юстиции, то он считает себя вправе ответить на тост П.А. Столыпина, нарушив установленный им порядок, т. е. ранее министра юстиции. Нас, молодых чиновников, почему-то происшедший «маленький конфликт» очень развеселил и мы, находясь уже под влиянием «закуски», устроили оратору, после его речи, шумную овацию, пели «чарку» и заставили П.А. Столыпина выпить бокал шампанского «до дна», что, как мы потом узнали, ему не разрешалось по состоянию его сердца.

Через год после моего поступления на службу меня постигло первое служебное огорчение. По натуре своей, в личной жизни я был глубоким консерватором: не выносил никаких перемен, сильно привязывался к людям и к месту; идеалом моим было прожить, как Гончаров, лет сорок на одной улице в одной квартире, прослужить всю жизнь в одном учреждении с одними и теми же людьми; поэтому то я так боялся Сибири. И вот вдруг, совершенно неожиданно, мне передают распоряжение Савича о переводе меня в инородческое делопроизводство, в помощь к вновь назначенному делопроизводителю И.И. Крафту. Грустно было расставаться и с привычной мне компанией ближайших сослуживцев, и с делами, которые уже юридически становились для меня привычными и понятными и интересными; еще грустнее стало мне, когда я увидел внешне довольно мрачную провинциального вида фигуру моего нового начальника.

---

<sup>1</sup> Суть каламбура заключается в том, что французы бы сказали «с'est moi», и это будет правильная форма, значащая: «это я», то, что в тексте — значит тоже самое, но безграмотно.

Я был единственным помощником Крафта; в первый месяц он был занят каким-то срочным законодательным представлением, говорил со мною мало и заваливал меня исполнением каких-то многочисленных мелких статистических справок; пришлось заниматься самыми нелюбимыми моими операциями — арифметическими. Меня снабдили чрезвычайно ценными и полными статистическими обследованиями Забайкалья, произведенными Комиссией известного деятеля Сибирского Комитета А.Н. Куломзина. Этот выдающийся бюрократ был главным вдохновителем работ образованного еще при императоре Александре III комитета по перестройке Сибирской железной дороги. Занимая, по сравнению с местами министров, подчиненное положение управляющего делами Комитета Министров, а затем и Сибирского, фактически Куломзин пользовался громадным влиянием, и его выдающимся способностям и умению работать, не покладая рук, Сибирь обязана началом всех тех колонизационных мероприятий, которые были связаны с постройкой великого железнодорожного пути мирового значения. В широкой публике труды даже первостепенного государственного и научного значения, которые появлялись в так называемых бюрократических сферах, почти совершенно не были известны: ими пользовались только специалисты; пресса их замалчивала; поэтому-то и имели место такие случаи, как, например, присуждение степени доктора политической экономии бывшему ревизору землеустройства А.А. Кауфману, тотчас же после того, как он вынужден был оставить государственную службу, за его старую работу, которой ранее никто ни в обществе, ни в прессе не интересовался. Живи Куломзин в другом государстве, где оппозиция введена уже в нормальное русло, в нормальные условия борьбы, он, несомненно, имел бы за свои труды ученые степени и, во всяком случае, не оставался бы известным только узкому кругу чиновничества; впрочем, и в среде последнего так мал был интерес к Сибири, что Куломзина знали больше по различным слухам о его оригинальном властном характере, о его, так сказать, самодурстве. Этими слухами ограничивались и мои сведения о Куломзине. Я знал, например, что когда ему представлялись два окончившие курс лицеиста, причисленные к канцелярии Комитета Министров, он справился у каждого по очереди относительно Л. 155. образовательного ценза; первый гордо заявил: «Императорский Александровский лицей с золотой медалью». Куломзин на это раздраженно заметил: «Золотая медаль, зубрила, ничего хорошего из первых учеников никогда не получается». Второй, услышав это замечание, очень подбодрился, ибо окончил Лицей весьма средне, но и ему Куломзин сказал неприятность: «В таком легком учебном заведении как Лицей и не получить даже медали; лентяй, чего же можно ожидать от вас на службе?» Позже, в 1905 году, во время разных забастовок, весь Петербург говорил о том, как Куломзин добровольно взял на себя обязанности почтальона и сумкой отлупил швейцара в каком-то аристократическом доме за наглый его вид и какую-то дерзость. С трудами Куломзина, а не анекдотами о нем, мне пришлось впервые познакомиться в Отделении И.И. Крафта. Среди сухих цифр и небольшого к ним текста нескольких десятков зеленых толстых томов о Забайкалье пе-

редо мной вставляли громадные богатства этого края, жизнь бурят, казаков и каких-то «семейских» старообрядцев, огромность задач по устройству такого края — одним словом, я вступил в область чего-то совершенно нового, неведомого, ничего общего не имевшего с так хорошо изученными мною Римом, Афинами, Троей и проч. Первые мои статистические шаги под руководством Крафта ознаменовались довольно крупным скандалом. Однажды Крафт меня поздравил: «со вчерашнего дня вы приобрели некоторую известность в Комитете Министров; благодаря вам было отложено его заседание». Оказалось, что я, взяв, по ошибке за множитель не 0,5, как следовало, а 1,5, преподнес в своей справке такое количество кедровых орехов в каких-то бурятских волостях, что у Куломзина явилось сомнение в правильности вообще наших исчислений, и назначенное к слушанию дело пришлось отложить.

Чем более я работал в инородческом делопроизводстве, тем более возрастал мой деловой интерес. Текущей мелкой переписки у нас было мало; европейские губернии России больше давали всяких жалоб и проч.; Сибирь далека, и местному населению не до переписки со столицей. Оставалось достаточно времени для чтения даже в служебные часы, а читать было что: по какому-то странному исключению, дела инородческого делопроизводства, со Л. 156. времени Императора Николая I, ни разу не сдавались в архив; вся старинная переписка, с некоторыми подлинными резолюциями Николая I и следующих императоров, была у нас под рукой; имелся ряд интереснейших докладов Сибирских генерал-губернаторов и губернаторов; имелась многотомная переписка по, знаменитому, но ранее мне, конечно, совершенно не известному делу расхищения башкирских земель; эта башкирская эпопея чрезвычайно меня заинтересовала и, по поручению Крафта, я даже составил записку, в которой изложил свои соображения, как следовало бы в земельном отношении устроить башкир, чтобы избежать непроизводительной гибели их крупных наделных лесов. Вся сущность «башкирской панамы» заключалась в том, что пользуясь избытком земли в башкирских наделах, наше дворянство, под видом культурно-колониационных задач, скупало за бесценок, со спекулятивными целями, громадные лесные и земельные пространства до тех пор, пока на это явление не было обращено внимание Правительством, когда сделки были признаны недействительными, а виновные лица заключены на различные сроки в тюрьму, в том числе и несчастный Оренбургский генерал-губернатор Крыжановский, абсолютно честный человек, ставший жертвой легкомыслия его жены и, кажется, дочери. Император Александр III, этот «защитник классовых интересов высшего сословия», как называла его всегда наша либеральная пресса, запретил совершенно приобретение дворянами башкирской земли; право приобретать ее предоставлялось только крестьянам. Можно смело сказать, что некультурный и ленивый народ — башкиры погибал только от того, что имел в своем пользовании земельные пространства, далеко превышающие трудовую норму; с этим народцем, конечно, в иной, более примитивной форме, происходила та же история, что со значительной частью наших помещиков после осво-

бождения крестьян: кто не хозяйничал сам, а проживал в столицах или за границей, привыкнув «лодырничать», шел быстрыми шагами по пути разорения. Башкир, сдав в аренду часть своих земель и продав часть леса, даже при самой дешевой цене, мог, ничего не делая, пьянствовать всю зиму, от труда отвыкал, а земельное его имущество хищнически эксплуатировалось и истощалось. Тот же самый, что у помещика, путь к разорению. Моя записка о принудительном отчуждении хотя бы надельных лесов по тогдашнему времени оказалась, конечно, слишком смела. Один мой сослуживец, считавший себя либералом, которому Крафт дал мою работу на заключение, в конечном своем выводе написал даже такую фразу: «одним словом, автор предлагает, в сущности, ограбить Башкиров и затем выпороть их». Предположении о «порке», вероятно, было основано на том, что, по моему мнению, в случае каких-либо беспорядков при проведении земельной реформы можно было бы опереться на военную силу. Это был первый момент в моей службе, когда я стал неизменным сторонником принудительного отчуждения земельных латифундий по соображениям общегосударственным, т. е. усвоил, отчасти, точку зрения на земельный вопрос сформулированную впоследствии в программе партии народной свободы.

Вспоминая о башкирских делах, не могу забыть о таком курьезе: как-то в наше делопроизводство был назначен на должность журналиста, т. е. чиновника, записывающего входящие и исходящие бумаги, скромный пожилой человек, не обычного писарского вида, а интеллигентный; говорили, что это гимназический товарищ нашего товарища министра А.С. Стишинского, какой-то неудачник. Роясь в шкафах, расставляя дела, новый наш журналист вдруг нашел том башкирской эпопеи; он страшно оживился; в шесть часов вечера не пошел домой; утром, придя до начала занятий, я его застал уже на месте, в пенсне, жадно читающим архивные дела; он весело на меня посмотрел и сказал: «Боже мой, как интересно, масса знакомых лиц!» Потом я узнал, что он по окончании юридического факультета служил по судебному ведомству в Оренбургской губернии и сам просидел довольно долго в тюрьме за участие в «башкириаде». Не только значит «сладкий дух березы», но и воспоминания о тюрьме за уголовщину могут светлые юные воспоминания.

Чтение архивных дел дополнилось живым словом моего нового учителя И.И. Крафта; сначала урывками на службе, а потом, когда мы сблизились и когда под неряшливой и несколько суровой внешностью его я открыл содержательного, много видевшего и знающего человека, и на дому у него я выслушивал интересные повествования Л. 158. его об условиях сибирской жизни вообще, в частности о быте и нуждах различных наших инородцев, в особенности же киргиз, якут и бурят. Раз в месяц мы небольшой компанией собирались в ресторане, где за обедом и после него И.И. Крафт продолжал свои рассказы, иногда читал что-нибудь из написанного им. Кроме нескольких ближайших сослуживцев бывал в нашей компании переселенческий чиновник Кигн [в тексте первоначально — Кингль], известный в журналах под псевдонимом Дедлова; он расширял мои сведения о далеких наших окраинах. Так, помимо своей воли, но по воле судьбы, я втягивался

в изучение, в интересы той громаднейшей части России, которая первоначально столь пугала меня. Я, избалованный культурными впечатлениями столичной жизни, воспитанный на классицизме, относился, конечно, весьма скептически к тем дифирамбам, которые пел Крафт шири и приволье сибирской жизни, а в особенности патриархальным нравам полудиких племен Азии; мыслей его о необходимости почему-то оберегать этот архаический быт я не понимал, спорил с ним, доказывая необходимость энергичного обрусения. Знакомство мое с приятелями Крафта — киргизами, приезжавшими иногда в Петербург хлопотать по делам их обществ, не убеждало меня, чтобы стоило сохранять в неприкосновенности их быт. Это были очень приветливые разумные люди, но они так были далеки по их стремлениям от моих идеалов, так были чужды того, что особенно было дорого мне, в особенности нашего искусства, что я первоначально отказывался найти общие точки соприкосновения с ними.

Являясь к Савичу они одевались в какие-то восточные дорогие одеяния; особенно бросался в глаза совершенно фантастический головной убор их — какие-то позолоченные ковчег; я старался разузнать у них какое значение имеют различия у каждого формы этого убора, когда и кем они установлены, не обозначают ли они принадлежности к определенному роду и т. д.; ответы были всегда уклончивые, с хитрой, слегка смущенной улыбкой; впоследствии сблизившись более и заслужив большее доверие, я узнал, что экзотическая форма представителей киргиз была совершенно вольным измышлением их, значительная часть ее снаряжалась даже Л. 159. уже по приезде в столицу и цель всего этого маскарада заключалась в желании возможно более импонировать петербургскому начальству. Не те же ли самые причины побуждали в свою очередь столичных чиновников заказывать себе форменные сюртуки, которых мы никогда не надевали в городе, фуражки и проч. При отъезде в провинциальную командировку? Кто к кому приспособлялся и кто над кем посмеивался в этих случаях — киргиз ли над бюрократом или последний над азиатом? Так и китайцы, презирая европейский вкус ко всему пестрому, выделявают для Европы различные мелочи в том стиле, который последняя наивно считает истинно-китайским.

С киргизами Крафт ездил в Мариинский театр; давали оперу «Дубровский» с Н.Н. Фигнером в заглавной роли. Мне Крафт с торжеством заявил, что наши гости признали Фигнера гораздо более слабым певцом по сравнению с какой-то своей степной знаменитостью; самая обстановка, по их мнению, была несравненно менее благоприятна для пения и наслаждения им, чем безграничная степь при закате солнца или в лунную ночь, когда самый запах трав как бы тянет к песне; в чтении пушкинский «Дубровский» им гораздо больше нравился, чем на сцене. Сам Крафт находил, что опера — это какой-то такой сплошной шум, что можно только удивляться бездействию полиции, которая не составляет протокола за нарушение общественной тишины.

Так, в лице моем и степных друзей Крафта, сталкивались два мира: один — искусственного романтизма, другой — живой природы, естествен-

ности. Но оба эти мира уже незаметно соединились мостиком; было одно имя, которое одинаково звучало и для меня, и для азиатов: Пушкин не был для них пустым звуком; они уже его читали, они его знали. Над этим стоило задуматься; это уже вырисовывало перспективы захватывающего интереса, это говорило о той мировой роли, которая суждена России в Азии, не потому, что сильна русская армия, а потому, что русский народ мог дать Пушкина.

По мере моего развития становилось ясно, что в наших спорах были неправы мы оба: и я, и Крафт. Я хотел разрушения быта, национальности; Крафт, идеализируя его, мечтал о его сохранении Л. 160. чуть ли не во всей неприкосновенности, как-будто бы можно было отворотить неизбежный ход исторического развития. На этой почве Крафт боролся за сохранение в возможно большем размере степных латифундий за киргизским народом. Отводом земельных участков под переселение крестьян ведал тогда Департамент Государственных Имуществ Министерства Земледелия, где ревизором землеотводных работ был упоминавшийся мною ранее энергичный и талантливый А.А. Кауфман. Между ним и Крафтом происходили на почве взаимно-противоречивых стремлений их частые трения; Крафт не любил лично в таких случаях беседовать с Кауфманом и поручал переговоры мне. Я помню, как иногда раздражался Кауфман и говорил мне: «да повлияйте вы на вашего киргизофила; он уже черт знает чего домогается; так ведь киргизы навеки останутся пастухами, а русскому крестьянину не останется в степях ни одной пяди земли». Я убежденно был на стороне Кауфмана, на стороне государственно-принудительного распределения земель. Курьезно, что через десять лет та же самая кадетская партия, к которой принадлежал Кауфман, старалась дискредитировать работу переселенческого ведомства в степных областях, работу, основанную на точных статистических данных, по тем только основаниям, что требовалась оппозиция правительственным аграрным мероприятиям во что бы то ни стало. Но об этом придется поговорить мне еще подробнее в своем месте.

В различных киргизских знакомых моих не мало изумляло меня в начале, что среди них были люди с высшим образованием — юристы, доктора. Мы так привыкли, что образованный человек уходил у нас от народа, от его толщи, что возвращение универсантов-киргиз [так в тексте] в родные их степи показалось мне с первого взгляда особенно симпатичной чертой. В этом отношении я разделял восхищение Крафта. Но впоследствии понял ошибку. Образованный киргиз обычно принадлежал к классу богачей, различных родовых начальников; ему не было никаких оснований бросать свое состояние на произвол судьбы; он, в сущности, возвращался не к народу, а к своему имуществу и привилегированному положению. Кочевой быт при сосредоточении Л. 161. громадных пастбищ в руках отдельных семей, сильно способствовал крайне неравномерному распределению материальных средств среди киргизского населения. Отстаивая киргизские интересы, Крафт как впоследствии и правительственная оппозиция в Государственной Думе, не давали себе или не хотели дать себе отчета, что они, в сущности, являются защитниками классовых, а не народных инте-

ресов в киргизских степях. С течением времени среднее и высшее образование, действительно, стало проникать в толщу киргизского населения и, действительно, к чести киргиз надо сказать, что их образованные люди, не в пример нашим, получившим образование крестьянам, возвращались в свои родные деревни — кочевья. При сохранении национальной низшей школы и разумных аграрных мероприятиях, киргизское население постепенно, без резкой ломки и насилия, обращалось к русской культуре, не теряя своей национальной самобытности и благородных черт мусульманства. Дело, следовательно, эволюционировало правильным, чисто государственным, путем. В молодые годы я только инстинктивно угадывал этот путь, не имея достаточных орудий для защиты его.

Дабы я получил возможность наиболее широко ознакомиться с литературой по инородческому вопросу, Крафт, с разрешения Савича, предложил мне половину служебного времени заниматься в Публичной Библиотеке и составить компилярную справку по истории, правовому положению и быту различных наших азиатских народов, на основании всех имеющихся литературных источников, как монографий, так и газетных статей и даже мелких заметок.

Я получил разрешение заниматься не в общей зале библиотеки, а в особом, так называемом, русском отделении. Там царил полная тишина, работало обыкновенно четыре-пять человек. Нарушалась эта тишина только по временам исступленным голосом члена «могучей кучки» Стасова, который вдруг подбегал к ученому библиотекарю и неистово кричал: «посмотрите, где он видел такой нос у Гоголя, разве мог быть у Гоголя такой нос?» и т. п. Хотя я вздрагивал от неожиданных восклицаний Стасова, но мне всегда было приятно видеть и слышать этого юного сердцем Л. 162. старца, с могучей фигурой русского боярина. В отделении Публичной библиотеки мне, волею судьбы, суждено было работать за одним столом с моим любимым профессором Коркуновым. Он писал биографическую статью о своем учителе — государствоведе Градовском; очень ласково, своими необыкновенно умными «мужицкими» глазами смотрел на меня и неизменно выражал удовольствие, что я не довольствуюсь текущей чиновничьей работой, а занимаюсь еще и в библиотеке: «это очень, очень хорошо», говорил он своим глухим сипловатым голосом, «работать надо всю жизнь, умом жить»; но он жил и сердцем: издал небольшой сборник своих стихотворений, среди которых были очень недурные по мысли и технике. Кстати, от него лично я узнал здесь, что является вымыслом история, которую любили рассказывать в университете про экзамен его у Градовского: последний будто бы поставил ему, несмотря на хороший ответ, не пять, а только три, и по поводу недоумения Коркунова заявил, что «для всякого студента заслуживает пяти, но для Коркунова не может быть оценено выше трех». Коркунов улыбнулся на этот мой рассказ и сказал: «это было бы для меня очень лестно, но в действительности этого не было». Здесь было мое последнее свидание с знаменитым профессором. Вскоре он умер в Гельсингфорсе, где отпечатал объявления о предстоящем его концерте и был помещен в больницу для душевно больных.

Вооружившись знаменитой Межовской библиографией, я составил себе список книг и газет, которые я должен был прочесть и использовать для моей работы. Получился весьма объемистый каталог. Впервые перестали для меня быть пустым звуком имена знаменитых сибиреведов — Ядринцева, Щапова и др., впервые предстало предо мною такое курьезное, но имевшее для культуры Сибири свои положительные последствия, движение, как украинофильское. Увы, очень многие из наших ярких украинцев и не подозревают, что название, за которое они так по дон-кихотски борются, присваивалось уже другому украинному «самостийничеству», ничего общего не имевшему с малорусским. Литература этого движения, особенно газетная, наивна, порою противна даже, Л. 163. но она пробудила в обществе интерес к изучению Сибири и имела хорошее значение демонстрации против крайней централизации нашего управления, к сожалению, во вред живым интересам края, как придется мне еще говорить, сохранившейся до последнего времени. Противен был, конечно, тот узкий и бездарный шовинизм, который проникал в Иркутскую прессу того времени. У меня, например, резко остался в памяти: 1) Номер газеты, в котором сообщалось о смерти Тургенева; где-то на второй, кажется, странице маленькая заметка о том, что тогда-то мол умер известный «русский» писатель, написал он то-то — перечислены главные романы; и 2) Номер той же газеты в широчайшем траурном ободке на всю газету, сообщающей о потере, понесенной Сибирью в лице ее «великого» поэта Омудевского. Это было глупо, но, повторяю, свою пользу приносило; русское общество узнавало о заслугах действительно хорошего, хотя и не первоклассного, конечно, русского поэта, а о Тургеневых оно и так, конечно, было хорошо осведомлено.

Разыскивая статьи об иностранцах в различных газетах, начиная с первых дней выхода их в России, я не мог, конечно, удержаться от прочтения заметок о той области, которую я так любил, т. е. о театрах. Это дало мне возможность значительно расширить мои сведения по истории наших театров, воотчию на протяжении многих десятков лет убедиться, как часто слепа и пристрастна пресса, претендуя на руководство общественным мнением и вкусом: достаточно прочесть разнообразные противоречивые рецензии о творчестве великого русского таланта Чайковского, чтобы понять, как художник-артист должен являться себе высшим судьей и не сбиваться с намеченного пути ни похвалами, ни порицанием газетной критики. Не без волнения перелистывая пожелтевшие страницы старых газет, я читал эстафеты о том, что Наполеон перешел со своими войсками границу России и т. п. Я, так сказать, непосредственно прикасался к нашей старине, к великим моментам нашей истории и не раз у меня поднималось в глубине души сожаление, что я не пошел по научной дороге, далекой от всяких житейских Л. 164. мелких дрызг, по крайней мере, во время самого процесса работы.

В результате моих работ в Публичной библиотеке получился весьма солидный по объему и, вероятно, удовлетворительный по содержанию, за отсутствием в литературе другого сводного сборника всех источников по инородческому вопросу, труд в несколько сот /около тысячи/ страниц,



написанных мною от руки; в ведении к моей работе я дал исторический очерк русского продвижения в Азии, включительно до позднейшего занятия нами Квантунского полуострова; литературные данные, с указанием источников, были использованы о каждом, даже самом незначительном, инородческом племени Азиатской России, как то об айносах, ороченгах, гилляках и т. п.; большой отдел был повешен миссионерскому делу, в прошлом имеющему несколько блестящих имен, а в общем, на всем протяжении Сибирской истории, являющем наиболее темные ее стороны, особенно, если сопоставить его приемы и результаты с выдающимися колонизационными способностями самого русского народа. После редакционного просмотра моей работы И.И. Крафтом, она была передана Г.Г. Савичу, который остался ею чрезвычайно доволен. В то же время меня ожидал другой деловой успех: я закончил разбор очень сложного земельного дела кыштымских заводов; на составленном мною в Сенат весьма пространном рапорте, товарищ министра А.С. Стишинский написал весьма лестную для меня резолюцию, в необычных выражениях восхвалявшую автора и просившую сообщить его фамилию. Кстати сказать, одно время Крафт довольно долго уклонялся от составления сенатских справок и рапортов для Стишинского, а поручал это всецело мне, так как был оскорблен его резолюцией: «что за ерунда?». Он добился таки, в конце концов, извинения со стороны товарища министра.

Но, несмотря на мои деловые успехи, как ранее мною упоминалось, в это время началось уже раздражение Савича против меня, усилившееся вследствие какой-то сплетни, сущность которой осталась мне неизвестной, но некоторые намеки на которые передавались мне моими друзьями впоследствии. Я испытывал на себе Л. 165. ряд мелких, но раздражавших меня придирок: например, я вызывался к Савичу, который, показывая мне какую-нибудь кляксу или мелкую опisku, задавал вопрос: «Что это такое?» или «в какой грамматике вы узнали, что слово искусство пишется через одно «с»; я отвечал, что клякса — это перепечатка невысохшей запятой с другой страницы, что грамматике, требующей неправильно писать слово искусство, я не знаю и т. д. Спокойствие мое еще более раздражало Савича. Меня стали обходить по службе: освободилось восемь вакансий помощника за то время, которое я числился первым кандидатом на эту должность, а я все оставался в прежней должности; мои младшие товарищи меня обходили по службе, но должен сказать, что это нисколько не влияло на наши взаимные приятельские отношения — они сами, получая назначение, открыто и громко возмущались несправедливостью; например, добрый и горячий С.Ф. Никитин, будучи назначен на должность, на которую я считался бесспорным кандидатом, расписываясь на приказе о назначении в секретарской комнате рядом с кабинетом Савича, поднял такой крик, что испуганные секретари постарались поскорее выпроводить его.

В один прекрасный день я был приглашен к Савичу, который торжественно заявил мне, что он, в заботах о моем здоровье и дабы я мог жить поближе к своим родным, говорил обо мне с Киевским генерал-губернатором Драгомировым, который согласился на мое назначение мировым посред-

ником в Киевскую губернию. Это была принудительная высылка меня из Петербурга. Я поблагодарил С. за внимание, сказал ему, что я здоров совершенно и климат столицы мне не вредит, что я еще на университетской скамье решил служить в ЗО и бросать в нем службу не желал бы. «Да, оставайтесь, пожалуйста, но помните, что дальнейшее движение здесь для вас закрыто». Я добавил: «только при вас». С. побагровел, должна была произойти бурная сцена, если бы я не поспешил уйти из кабинета начальства.

Нервничание Савича увеличивалось еще под влиянием Л. 166. слухов об уходе любимого и почитаемого им министра Г-на. Когда последний в 1899 году находился в заграничном отпуске, стало известно о замене его Д. Сипягиным; он прислал своим родным телеграмму, не знаю искреннюю ли, но, думаю, что да, судя по характеру Г. — «поздравьте, наконец меня освободили». У нас в отделе все, за исключением двух-трех непримиримых правых, были искренно огорчены предстоящей заменой; образованный и корректный во всех отношениях Г-н был уважаем и любим. Прощался он с чинами министерства в большой зале его близ Александринского Театра; зал был переполнен чиновниками; некоторые, в том числе особенно Савич, плакали. С., как живой и умный человек не мог не давать себе отчета, что, если он и удержится при новом министре, то ценою известных сделок со своей совестью, он плакал, несомненно, искренно, теряя честного, знающего и умного начальника.

Новый министр через несколько дней обходил все делопроизводства ЗО, как-то подчистившиеся к этому дню и принявшие более парадный вид; делопроизводителям он подавал руку, ему называли номер делопроизводства и род дел, которые относятся к данному Отделению; от себя С., кроме обычного приветствия, ничего делопроизводителям не говорил, а нас, молодых чин-ков, приветствовал только поклоном.

Это был довольно грузный, высокого роста, с большой русской бородой, но с каким-то нерусским, по причине сильно торчащих ушей, лицом, лысый, в общем приветливый, человек — тип богатого барина-помещика; манеры, некоторая величавость и ласковость их не могли укрыть от наблюдательного глаза, что перед ним не деловой и не умный человек. Рассказы моих сослуживцев о посещении Земского отдела следующим министром, назначенным в 1902 году на место убитого Сипягина, а именно В.К. Плеве были совершенно иными. Этот, с очень большими знаниями и опытом, чиновник отлично знал, какие дела заслуживают наиболее внимания в каждом делопроизводстве; он был в департаменте, как у себя дома; с каждым почти делопроизводителем беседовал с большим интересом и живостью; с И.И. Крафтом, например, очень долго говорил о дальнейшем распространении на Сибирь Положения о Л. 167. крестьянских начальниках, о башкирских межевых работах и проч. Одним словом, и внешним своим видом, удивительно живыми и умными глазами, и служебным опытом он сильно imponировал чиновникам. Хотя я тогда и не служил уже в ЗО, я, интересуясь просто сильной личностью В.К. Плеве, старался собрать от более или менее близких ему людей сведения о нем уже после его смерти 15 июня 1904 г. от руки убийцы-революционера Сазонова. И вот, насколько мне

Сипягин был неприятен его, выражаясь просто, глупостью, настолько Плеве, как мужественный, сильный волей и умный человек, казался мне интересным, несмотря на все нападки на него во всякой мало-мальски либеральной прессе. И действительно, если сопоставить этих двух представителей правительственной реакции, то получаются, мне кажется, довольно интересные выводы, и образ Плеве, если только отрешиться от партийной предвзятости, вырисовывается далеко не в тех мрачных красках, как рисовали его современники; во всяком случае он колоритен и интересен.

Сипягин вредил своим неумением и отсутствием какой-либо программы именно тем задачам, которые он должен был, по своим взглядам, преследовать; он не умел подбирать сотрудников потому, что он не умел разобраться в подготовке и знаниях людей; он позволял себе такие, раздражавшие даже его единомышленников, распоряжения, как приказ подшить к делу, без доклада Государю, всеподданнейшие адреса дворянства по поводу дня освобождения крестьян; при нем возможно было появление в ревизионных отчетах о деятельности земских начальников таких бессмыслиц, как заключение одного ревизора-оппортуниста, что такой-то земский начальник слишком большой формалист, т. к. он недворянского происхождения и т. п.

Каюсь, при всем моем отвращении к политическим убийствам и духовным их инициаторам, я не мог скрыть чувства радости, получив в театре известие, что Сипягина больше нет. Плеве по всем данным был идеальным олицетворением типа чиновника-карьериста; для карьеры, как говорили о нем, он готов был на все, но и в нем самом для этого зато были все данные: мужество, настойчивость, ум и знания. Он понимал Л. 168. прекрасно, что дело обуздания революционного движения не может быть сведено только к чисто механическим полицейским мерам; он был человеком государственной складки ума. Мой приятель, друживший с сыном Плеве — очень хорошим и скромным чиновником, рассказывал мне, с какой гордостью Плеве-отец показывал ему в своей казенной квартире государственного секретаря кресло, в котором работал еще знаменитый Сперанский: «Вот здесь сидел он, если бы хотя бы раз увидеть его», — говорил с почтением В.К. Плеве. Он глубоко ценил знания и способности своих сотрудников, например, о своем товарище министра А.С. Стишинском, тонком юристе крестьянского дела, он говорил при обходе Земского отдела: «Если бы А. С. жил в Риме, ему бы там за его тонкий юридический стиль поставили памятник». Он понимал отлично, что консерватизм не есть возвращение вспять; сам себя реакционером он никогда не считал; требовал от губернаторов работы и знаний; разносил их, увольнял, заменял другими. Понимал значение реформ и говорил иногда: «Запоздали с ними, теперь придется расплачиваться нам». При нем была отменена, например, смертная казнь за политические убийства, и именно его убийца благодаря законопроекту своей жертвы не был лишен жизни; этот факт почему-то всегда замалчивался. И главное — Плеве знал, что за опоздание в реформах расплата близка, он высчитывал, сколько обычно бывает неудачных покушений, и высчитал, что следующее покушение на него будет его смертью. Не проща

ли в такой обстановке даже заядлому карьеристу уйти со сцены? Никто, обвиняя Плева, никогда не подумал, особенно Витте в своих воспоминаниях, какие же причины побуждали Плева оставаться на своем посту уже будучи приговоренным к смерти. Не следует ли эти причины назвать их настоящим именем — «благородное сознание своего долга?» Ведь если карьерист-воин, дослужившись до высоких должностей, не бежит от службы после объявления, хотя бы и губительной беспобедной войны, то он получает к названию «карьерист» еще и эпитет «герой».

Так поступил и Плева и за это очень и очень многое должно было бы быть прощено ему, как цельному человеку, даже его непримиримыми врагами.

Смерть Плева сильно огорчила меня, хотя я и не работал никогда с ним лично.

Около года я терпел выходки Савича, но потом все-таки вынужден был оставить службу в ЗО; это было, по пережитому тогда настроению, самое крупное мое огорчение за всю мою служебную жизнь, первый удар по моему самолюбию, к чему я совершенно не был подготовлен. Несмотря на скромное мое положение, прощальный обед, устроенный мне сослуживцами, привлек весь ЗО; говорилось много речей, в которых подчеркивалась несправедливость Савича, а бурными криками, после тостов за Б.Е. Иванниченко, сочувствие ему за то, что он взял меня в порученное ему недавно Управление водяных и шоссейных сообщений и торговых портов.

Вскоре после моего ухода вынужден был оставить службу в ЗО и мой гонитель — Г.Г. Савич. При Сипягине он еще мог удержаться, но властный Плева, не любивший при том до крайности людей пьющих, подыскал на должность Управляющего ЗО своего собственного кандидата — В.И. Гурко, который вскоре был назначен товарищ министра с подчинением ему ЗО; Гурко, вероятно, для того, чтобы сохранить за собою влияние на дела этого Отдела, избрал на должность своего заместителя очень доброго, порядочного, работоспособного, но не яркого человека — Я.Я. Литвинова, особенностью которого в нашей среде был необычайный образовательный ценз: он был врачом, затем увлекся работой в земстве, а позже в крестьянских учреждениях. Савич извлек его из провинциального учреждения, и Литвинов, вероятно, неожиданно для себя, оказался во главе крестьянского дела.

Гурко, человек умный, смелый и любящий риск, был оклеветан в общественном мнении по поводу неисправности поставщика Лидваля; если бы последний при тех низких ценах, которые он предположил на поставку хлеба в голодающие губернии не провалился случайно, Гурко прославился бы за громадное сбережение государственных средств; риск не удался, и оппозиция воспользовалась Л. 170. этим, чтобы затоптать его в грязь разными сплетнями. Во время процесса Гурко в Сенате, тихий провинциал-семьянин Литвинов был очень комичен, когда его допрашивали не знает ли он такой и такой-то звезды шантанного мира, о котором он имел такое же понятие, как о китайской грамоте. После увольнения Гурко, Литвинов уцелел на своем месте, настолько он был мало замечен, в особенности

после яркой, незаурядной личности Савича. К последнему, несмотря на причиненные им мне огорчения, я совершенно, как уже упоминал, не мог питать какого бы то ни было чувства злобы; наоборот, я в глубине души сохранял к нему всегда чувство любви, так тянуло меня ко всему, что не могло быть названо пошлым, мещанским.

Возобновились мои отношения с ним только лет через десять и то на весьма короткий срок. Я работал тогда уже в Переселенческом управлении, над составлением дальневосточного справочника для переселенцев; Савич же, после кратковременного по смерти плеве возвращения его к активной деятельности на должности помощника начальника Главного Управления по делам местного хозяйства, ушел на тихую роль редактора «Сельского Вестника». Он по телефону предложил мне отпечатать мой справочник в типографии «Вестника»; был очень любезен, звал к себе зайти поболтать о старых временах, напомнил, что у него еще хранится моя работа об инородцах, что ее следовало бы отпечатать; я заметил, что она уже несколько устарела и что ее надо будет пересмотреть и дополнить; обещал на днях побывать у него. Затем, в одном знакомом доме через несколько недель после моего разговора с Савичем, где меня удерживали, я сказал, что тороплюсь к Савичу, к которому давно собираюсь. Хозяйка дома мне с удивлением возразила: «Но ведь уже поздно, восемь часов, а панихида была назначена в шесть». Так и не пришлось мне больше повидаться с моим первым начальником. Савич умер так же неожиданно, так же беспорядочно, где-то в гостях, а не у себя дома, как были неожиданны и беспорядочны все его поступки и на службе, и в частной жизни, как живут и умирают очень и очень многие, одаренные Богом, но разбрасывающиеся Л. 171. и вечно чего-то ищущие русские люди.

Похороны его ярко подчеркнули весь живой разнообразный склад души и образа жизни покойного. Наряду с высокими придворными чинами, важными генералами и чиновниками видно было много бритых артистических физиономий, были представители и литературы, и мелкой прессы и даже просто «богема». Задушевное слово перед выносом сказал священник; он говорил то, что я, а, вероятно, и многие другие, всегда думал, при моих столкновениях с Савичем: говорил, как был одарен покойный, как разнообразно и много работал и т. п., те же недостатки, которые были в нем, то нехорошее, что он мог, по свойствам своего характера, причинять иногда даже и близким людям — все это нами должно быть забыто; о них состоится праведный и милостивый суд Судьи всего мира.

Большая разношерстная толпа проводила останки Савича до его могилы в Александро-Невской Лавре.

Свою работу об инородцах я так и не получил из архива покойного: не хотелось беспокоить его вдову.